Андрей Караулов

ЮРИЙ ЧУРБАНОВ: «Я РАССКАЖУ ВСЕ КАК БЫЛО...»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Сложная история у нашей страны», — пишет в своей исповеди бывший (как его называли) «кремлевский принц». Ведь советско-партийная номенклатура 70-х годов прошлого века была убеждена, что, женившись на дочери Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Юрий Чурбанов (1936–2013) вытащил счастливый билет. Народная же молва не очень деликатничала, пустив по свету поговорку «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов». И действительно — карьерный взлет, генеральские погоны, доступ к высшим эшелонам власти в СССР. А потом — демонстративный арест, «узбекско-кремлевское дело», исключение из партии, лишение наград и званий, конфискация имущества, суд… И — 12 лет колонии строгого режима, где пришлось о многом подумать, многое осмыслить и переосмыслить, увидеть собственную жизнь и жизнь всей страны под иным ракурсом. Итогом этих размышлений и стала книга «Я расскажу все как было…». А было много чего: рыбалка с Фиделем Кастро и этапирование в «столыпинских» вагонах; клепание креманок и отдых в Крыму с лидером великой державы; унижение достоинства и собственная слабость, когда пришлось оговорить почти 120 невиновных… В общем, прав Юрий Михайлович: «Сложная история у нашей страны».

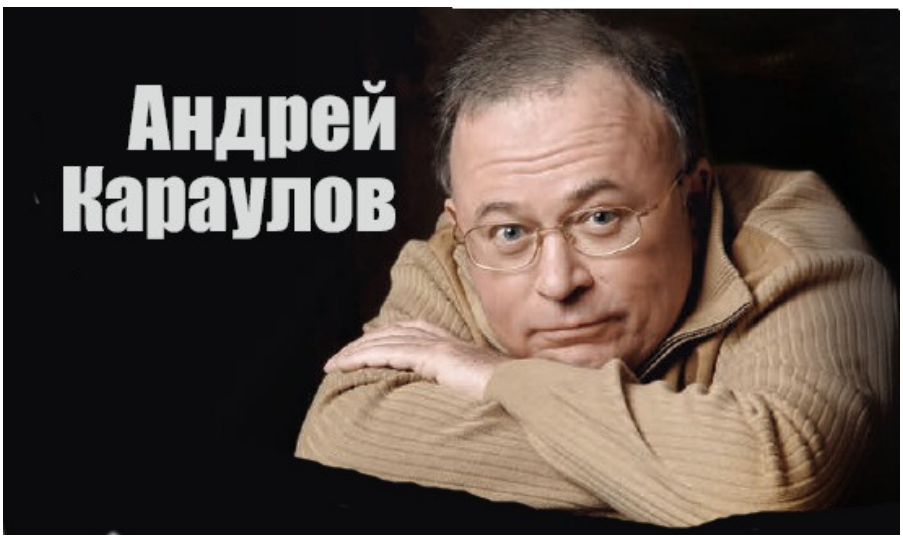
- Андрей Караулов
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

○ 7

Андрей Караулов
Юрий Чурбанов: «Я расскажу все как было…»

Посвящается

Галине Леонидовне Брежневой



Андрей Караулов — известный российский журналист, телеведущий, публицист, писатель. Его программы «Момент истины» и «Русский век» были одними из самых рейтинговых на нашем телевидении. Он автор и документальных фильмов — «Путин как superstar», «Как погиб «Боинг», «Обыкновенный фашизм», «Бои без правил», др., которые вызвали бурные споры в российском обществе. То же самое относится и к его книгам — «Вокруг Кремля», «Русский ад», «Геноцид русских на Украине. О чем молчит Запад»… В свое время большой резонанс получила исповедь Юрия Чурбанова — зятя Генерального секретаря ЦК КПСС, книга разошлась огромным тиражом. Не менее интересно читать ее и сегодня.

Идея этой книги родилась в Нижнем Тагиле, в так называемой «ментовской зоне», то есть в колонии № 13, где отбывал срок Юрий Михайлович Чурбанов — зять Л.И. Брежнева, бывший первый заместитель министра внутренних дел СССР.

Сначала я уговорил Чурбанова на большое интервью для журнала «Театральная жизнь». В «Театральной жизни» я работал «на договоре», и главный редактор журнала — О.И. Пивоваров с удовольствием печатал в каждом номере огромные (на 5–6 полос) мои беседы людьми, которые в те годы были интересны всем: опальный Ельцин, опальный Гейдар Алиев, уже осужденный Усманходжаев Инамжон Бузрукович — бывший руководитель Узбекистана, а также актеры, писатели, философы, видные общественные и политические деятели.

Интервью для «Театральной жизни» мы сделали с Чурбановым довольно быстро, резонанс был огромный. Вот я и предложил: а книга? Может быть, мемуары?

Юрий Михайлович признался, что он больше читатель, чем писатель, поэтому мы договорились так:

несколько дней разговоров здесь, в «зоне», в кабинете начальника тюрьмы — подполковника И.Д. Жаркова, — он, кстати, жив и здоров — потом я исчезаю на месяц с этими пленками, превращаю их в текст.

И вот так из наших бесед появится книга воспоминаний Чурбанова, которую мы — я предложил — назовем «Я расскажу все как было». Я хотел, чтобы книга была от первого лица, т. е. от лица Юрия Михайловича, но он возражал, потому что беседа — это не интервью, а именно беседа, причем по душам.

Так я стал его «литературным агентом», первый и последний раз в своей жизни. Когда книга была готова, Чурбанов передал мне все права на рукопись. Я сказал, что книгу издаст «Независимая газета», в которой я тогда работал, и что половина гонорара полагается ему, моему собеседнику. Чурбанов не возражал; книжка вышла тогда огромным тиражом. Его сестра — Ирина Михайловна — честно получила весь причитающийся Чурбанову гонорар.

С тех пор книга ни разу не переиздавалась, и это, конечно, неправильно. Все, о чем рассказывает в своей «исповеди» Чурбанов, знал только он. И рассказать мог только он. Так подробно, так живо и обстоятельно. Когда я недавно перечитал текст… Первый вопрос: почему не издаем?

Мои друзья из «Аргументов недели» с удовольствием взялись за это дело.

А. Караулов

1

Мой арест произошел 14 января 1987 года в кабинете начальника Следственной части Прокуратуры Советского Союза Германа Петровича Каракозова.

Накануне, где-то с утра, Каракозов позвонил мне на квартиру и сказал, что завтра ждет к себе в 12 часов дня. Утром мы еще раз перезвонились, и, ни о чем не подозревая, я приехал в Прокуратуру. Внизу меня ждал следователь по особо важным делам Литвак. Мы поздоровались за руку, Литвак приветливо улыбнулся, он вообще производит впечатление очень обаятельного человека, и мы поднялись на второй этаж в приемную Каракозова.

Но только я переступил порог, как мне навстречу поднялись два молодых человека с хорошей полувоенной выправкой (я так и не узнал, кто они такие) и заявили: «Вы арестованы!» Тут же, в приемной, с меня сняли подтяжки, галстук, часы, из ботинок выдернули шнурки. Понятыми были две женщины, сотрудницы Прокуратуры, как я узнал потом от следователя Миртова. Да и понятно, что сотрудницы, — с улицы кого попало ведь не позовешь, как-никак генерал-полковника арестовывают. Хорошо, что в этот момент я был в штатском, не в военной форме, а то могли бы, пожалуй, и погоны сорвать, хотя я еще и звания в то время не был лишен, это произошло гораздо позже.

Вот так, поддерживая штаны руками, я предстал пред светлые очи Германа Петровича Каракозова, начальника всех следователей СССР. В его кабинете уже находились Гдлян и Иванов, полковник юстиции Миртов, молодые люди, объявившие мне об аресте, и еще один человек, я его не знаю (но, может быть, он из КГБ).

Особенно меня поразил Каракозов. Сейчас это был уже не тот улыбающийся Герман Петрович Каракозов, который месяца два назад первый раз попросил меня заехать к нему в служебный кабинет. За столом сидел хмурый, довольный собой человек — довольный первой победой! Каракозов сразу показал мне ордер на арест, подписанный заместителем Генерального прокурора Сорокой, причем (надо понять состояние, в котором я находился) все это было сделано так быстро, даже мельком, что я даже не успел разглядеть стоявшую на нем дату. Впрочем, какая разница…

Я знал, что меня могут арестовать, готовятся к этому, ищут «ключики». Еще в то время, когда министром МВД СССР был Федорчук, за мной установили наружное наблюдение: внешне —

никаких следов (в КГБ работают профессионалы высокого класса), но я чувствовал, что за мной следят.

Накануне ареста у меня уже была очная ставка с неким Каримовым, бывшим первым секретарем Бухарского обкома, которая была деликатно обставлена, по всем правилам продуманного «пресса». Точно так же, как сейчас, мне позвонил Каракозов, я приехал к нему, в кабинете был все тот же Литвак; и вдруг вводят небритого, если не сказать грязного, незнакомого мне человека «восточного типа».

Откуда он появился, из какой комнаты вышел, я даже не знаю. Бросилось в глаза, что он без галстука, очень волнуется и растерян.

Каракозов спрашивает: «Юрий Михайлович, Вы узнаете этого человека?» — «Нет, первый раз вижу». — «И никогда не видели?» — «Нет, никогда». — «Ну как же, ведь это Каримов!» — «Какой Каримов?» В Узбекистане Каримовых все равно что в России Сидоровых и Петровых. — «А помните, вы приезжали в город Газли?..»

И я вспомнил. В 1979 году (а тогда шел 1987-й], находясь в служебной командировке в Узбекистане, я прилетел в Бухару и на аэродроме выразил желание посмотреть находящийся неподалеку городок Газли, в свое время (по-моему, за три года до этого) сильно пострадавший от землетрясения. Внутренние войска МВД СССР участвовали в работах по ликвидации последствий землетрясения, так что мой интерес был вполне оправдан. (Кстати, в Газли начинается нитка газопровода Бухара — Урал. Именно Урал, где я и нахожусь сейчас, в колонии усиленного режима; все-таки какая-то злая символика здесь присутствует).

И хотя этот Каримов, встретивший меня в аэропорту, сразу стал приглашать покушать и отдохнуть с дороги, я ответил, что перекусить мы всегда успеем, но сейчас надо заняться делом и посмотреть Газли. Мы сели в машины, тронулись в путь — это 90 километров по хорошей шоссейной дороге. Осмотрели город, а на обратном пути я неожиданно для всех попросил остановить свой служебный автомобиль у одного из магазинов.

Входим туда. За мной идут Каримов и начальник Бухарского УВД генерал Норов. И что мы видим? Мяса нет, продуктов раз-два и обчелся, даже сигарет, я помню, не было, только махорка. Это сейчас махорка стала мечтой курильщиков, а по тем временам отсутствие сигарет в магазине — уже ЧП. Спрашиваю у девушки-продавца: «Почему же даже сигарет нет?» Она отвечает: «Что привезут с базы, то и продаем».

Тем временем к магазину стали стекаться местные жители, собралась толпа порядка 150–200 человек. Поздоровавшись,

спрашиваю, как они живут, какие у них есть вопросы. И тут одна женщина, по характеру, видно, бойкая особа, говорит: «Товарищ генерал, вас здесь обманывают, пускают пыль в глаза, с продуктами у нас плохо, мяса мы не видим, на рынке оно стоит дорого, молока тоже нет». В общем, обычные жалобы покупателя.

Я посмотрел на Каримова и спокойно, не повышая голоса, спрашиваю: «Неужели нельзя помочь этим людям и навести порядок? Ведь Бухара рядом!» Он тут же, в присутствии всех заверил меня: «Юрий Михайлович, все будет как надо». Вот, собственно говоря, и весь инцидент (если это можно назвать инцидентом). Мы простились с людьми, сели в машины и после обеда и короткого отдыха в Бухаре я вернулся в Ташкент.

Разумеется, о том, что было в Газли, я очень скоро забыл. Были, как говорится, и другие дела. И вдруг сейчас, спустя десять лет, Каримов в кабинете у Каракозова утверждает, что в Газли с моей стороны проявились грубость и неуважение, он растерялся, и, чтобы избежать скандала, в тот же день за обедом умудрился засунуть мне в боковой карман кителя десять тысяч рублей.

Я опешил. Смотрю на этого человека и думаю: «Господи, да человек ли он, ну как же можно так нагло врать?» Сидит, весь трясется, ясно же, что он все это выучил со слов Каракозова; что ему противно говорить такие глупости, но он — вынужден. Позже я узнал, что Каримова обвиняли в получении взяток на три или четыре миллиона, он шел под расстрел, так что ему было нетрудно признать по просьбе следователей еще десять тысяч рублей, выторговав тем самым для себя хоть какие-то льготы.

Даже если в той пачке были только сторублевые бумажки, то как, спрашивается, она может влезть в карман кителя? Впрочем, я уже тогда понял, что если Каракозов пожелает, то она «влезет». Нам не дали возможности задать вопросы друг другу, я просто сидел и слушал Каримова.

Повторяю, мне никто не сказал, что это очная ставка. Так очные ставки не проводят. Там не было даже магнитофона. Я вообще не представляю, как Каракозов и Миртов писали потом протоколы, с чего? Листая перед судом тома уголовного дела, я его просто не обнаружил. А может быть, они этот протокол так аккуратно подшили, что я его просто не заметил — такие манипуляции следователей хорошо известны. Но ведь с него все началось!

Забегая вперед, скажу, что через два с лишним года, когда я был уже полноправным «зэком», мне пришлось случайно встретиться с Каримовым на «этапе». Он ехал в Ташкент по делу бывшего Управляющего делами ЦК КП Узбекистана Умарова, если не ошибаюсь, а я — по делу бывшего секретаря Навоийского

обкома партии Есина. Здесь, в «столыпинском» вагоне, в котором у нас перевозят заключенных, Каримов подробно рассказал мне, как его «ломали» Гдлян и Иванов; как накануне очной ставки Каракозов в компании с Гдляном и Ивановым угрозами и шантажом вынудили его дать показания против меня.

Я спросил: «Почему же возникли именно десять тысяч?» Каримов ответил, что так ему сказали в Следственной части Прокуратуры СССР… Вот такая была «очная ставка».

* * *

Что делать? Уехать в другой город? Сделать так, чтобы меня не нашли? Конечно, нет, это все глупости. Во-первых, спрятаться не удастся. Во-вторых, если человек скрывается от кого-то, он еще больше переживает, всего боится, у него болит душа, появляется рваный сон. И он в итоге натворит еще больше глупостей.

А тучи стали собираться. Все было глубоко продумано. Я находился на даче, ни с кем не встречался, Каракозов на какое-то время тоже затих. Потом я сильно простудился, попал в больницу, две-три недели меня никто не трогал. Хотя Каракозов в больницу позванивал, спрашивал, как я себя чувствую, звонил и мне, и врачам, — я думаю, он не здоровьем интересовался, конечно, а не сбежал ли я куда-нибудь.

Меня арестовали. Не верил я, что арестуют, но это произошло.

Своей жене, Галине Леонидовне Брежневой, я ничего не говорил. Щадил человека. Ей и без того было очень тяжело.

Все-таки потом весь ход следствия покажет, что это была заранее спланированная акция, что решение арестовать меня принималось на самом верху.

Умирать буду, но на всю жизнь сохраню в памяти этот день, надвое разделивший всю мою жизнь.

* * *

…В кабинете у Каракозова были Гдлян и Иванов.

Кто-то, по-моему, Гдлян, положил передо мной белый лист бумаги, дал мне свою ручку, заправленную чернилами, потому что моя, шариковая, была отобрана; и тут же, пока я не опомнился от самого факта ареста, предложил написать заявление о моей явке с повинной. Теперь я думаю: какое счастье, что я все-таки сообразил тогда и категорически от этой

«повинной» отказался. Тогда была бы верная смерть.

По лицу Каракозова пробежала тень, но он быстро взял себя в руки. Гдлян тоже не слишком огорчился. Начался перекрестный допрос, и в ту же минуту под издевательски-размеренную диктовку Гдляна я написал заявление на имя Генерального прокурора СССР Рекункова о том, что, занимая ответственные посты в МВД СССР, я получил взятки на сумму в общей сложности полтора миллиона рублей.

Расхаживая по кабинету Каракозова, Гдлян продиктовал мне имена и фамилии 132 человек, от которых я якобы получал деньги, и сам называл суммы взяток: 10, 20, 50, 200 тысяч — сколько хотел! Все это были люди, в той или иной степени интересовавшие следствие, — Гдлян диктовал, а я писал.

Что происходило со мной, я помню очень смутно, все было как в страшном сне: Гдлян называет какие-то имена, а я сижу в роли технического исполнителя, и пишу на имя Рекункова все, что он говорит.

Потом меня вывели по черной лестнице во двор, посадили в «рафик», по бокам, с обеих сторон сели дюжие молодцы, схватив меня, чтобы не убежал, за кисти рук, и доставили в Лефортовский следственный изолятор КГБ СССР. И только ранним утром я понял, что в моей жизни произошло что-то непоправимое и трагическое.

Усталость, болезненное состояние, полная отрешенность и невосприимчивость, жуткая подавленность преследовали меня и 15 января 1987 года. Пошел второй день моего пребывания в следственном изоляторе. Разумеется, я почти не спал.

Вот ведь как распорядилась судьба: следственный изолятор КГБ находится буквально в двух шагах от штаба внутренних войск МВД СССР, где я работал последние годы. Каждый день приезжая в Лефортово на работу, я и не знал о существовании этого изолятора, подчиненного КГБ. Народ там работает подготовленный, в Лефортове нет солдат, только прапорщики-контролеры и офицеры. Многие меня узнали, но не злорадствовали так, как отдельные работники прокуратуры. Что ж, и на том спасибо, как говорится.

Допросы продолжались весь следующий день. В Лефортове, на втором этаже, есть служебные кабинеты следователей: туда и приехали Гдлян, Иванов, чуть позже — Миртов, Каракозов, то есть вся их компания. Мне очень хотелось прийти в себя, хоть немного успокоиться и опомниться, собраться с мыслями. Я сразу попросил об этом Гдляна и Иванова, но они, конечно, оставили мою просьбу без внимания и только рассмеялись мне в лицо. Другими словами, метод их психологического воздействия,

которым они — надо отдать им должное — так мастерски владеют, заработал в полную силу.

И пошел этот пресс! Начались ежедневные, изнуряющие, многочасовые допросы, опять пошли фамилии каких-то людей, якобы передававших мне деньги в Узбекистане. И тут я опять не смог сказать ничего вразумительного, безвольно подтверждал все, о чем говорили Гдлян и Иванов. А потом под их диктовку все это почти машинально записывал на бумагу.

Я не мог контролировать свое поведение и не мог взять себя в руки. Все было как в тумане. Где-то первые четыре дня я совершенно отказывался принимать пищу, приходил с допроса, замертво валился на нары, но все равно не мог уснуть.

В память врезалась такая деталь: в камере есть «кормушка», туда кинули миску с какой-то кашей, это было утро, я сказал контролеру-прапорщику, что отказываюсь от завтрака, что нет никаких сил заставить себя что-то съесть, и вдруг этот прапорщик, молодой парень, говорит: «Покушайте, а то вы ослабнете, вам надо силы беречь…»

* * *

Я взятки не брал. Понимаю, что после града статей в нашей прессе об «унтере в лампасах», погрязшем во всякого рода должностных преступлениях, кому-то из читателей такое заявление наверняка покажется просто… несерьезным. Эти статьи сделали свое дело. Они основательно подготовили и настроили общественное мнение.

За все эти годы высказаться в прессе мне практически не удавалось, честно повел себя только один-единственный журнал «Театральная жизнь», там опубликовали мой рассказ, не изменив в нем ни строчки. Это — редкость. Журналисты обычно поступали иначе. Теперь я — уже в одиночку — буду бороться со всеми, кто в 1987–1990 годах без стыда и совести клеветал на меня, врал и на суде, и после суда, кто меня обманул.

Вот почему я пишу эту книгу. Люди должны знать правду. И я расскажу все, как было, чего бы мне это ни стоило. Когда человек сидит за колючей проволокой, с ним всегда легче бороться, чем когда он на свободе; и здесь, в колонии, его легче добить. Но ведь мне терять уже нечего.

Вот только один штрих. Когда мне в Лефортове стало совсем худо, когда по намекам Гдляна, Иванова и полковника Миртова я понял, что меня могут расстрелять — для этого, как говорится, все готово; когда уже не было никаких сомнений, что

«кремлевско-узбекское дело» превращено Гдляном и Ивановым в грандиозный политический спектакль, я не выдержал, и, выбрав удобный момент, обратился с устной просьбой к начальнику изолятора (такие просьбы на бумаге не фиксируются) о встрече с Председателем КГБ СССР генералом армии Виктором Михайловичем Чебриковым. Я сказал начальнику: «По личному вопросу». Странно наверное, но моя просьба была исполнена.

Меня вызвали через несколько дней, вид у сопровождающих прапорщиков был перепуганный, кажется, я и руки за спиной не держал; они за мной не следили, им было не до того. Мне посоветовали получше одеться, я эти рекомендации выполнил как мог. И вот когда я вошел в кабинет начальника следственного изолятора, за его столом сидел Чебриков.

Мы за руку поздоровались, он представил мне второго человека, который был с ним, сказал, что это его помощник по Политбюро. Была и такая должность. Началась беседа. Чебриков поинтересовался, нет ли с моей стороны жалоб на содержание или питание; их не оказалось, хотя на питание в Лефортове (да и в других изоляторах КГБ) полагается 47 копеек в сутки — каша и супы, вот и все питание. Больным людям, сердечникам и язвенникам, иногда дают немножко масла и отварного мяса, а все остальное, то есть конкретно: печенье, белый хлеб, какие-то самые банальные продукты, а также сигареты и мыло можно приобретать в тюремном магазине на 10 рублей в месяц, не больше. Мне запретили получать передачи из дома (Гдлян говорил, что какие-то партийные функционеры, особенно узбеки, хотят меня отравить). Но Чебрикову я не жаловался.

Я сразу спросил его о другом: «Виктор Михайлович, вы меня знаете, я вас знаю, скажите честно — кому и зачем понадобился весь этот спектакль? Что происходит?»

Чебриков спокойно, глядя мне в глаза, ответил: «Юрий Михайлович, ваш арест обсуждался на Политбюро». И довольно выразительно на меня посмотрел. Тут я все понял. Это Политбюро, а не Прокуратура СССР, решало, быть мне заключенным или не быть. Если мне не изменяет память, Чебриков сказал, что среди членов Политбюро даже было голосование по этому вопросу.

Вот когда я сломался. Стало ясно, что любое сопротивление не имеет смысла, ибо мой арест — это заранее спланированная политическая акция и что судить, собственно говоря, собираются не меня. Я оказался прав. Это был суд над Леонидом Ильичом Брежневым. Так подтверждалась «перестройка».

2

…В один из январских вечеров 1972 года я с товарищем приехал поужинать в Дом архитектора на улице Щусева. Пришли в ресторан, сели за столик, заказали, как помню, холодный ростбиф, салаты и бутылку вина. Не знаю как сейчас, но тогда в ресторане Дома архитектора был большой камин. И вот когда его разожгли, я заметил, что в глубине зала за двумя столиками, сдвинутыми вместе, сидит знакомая компания. Разумеется, мы с товарищем тут же подошли, поздоровались, присели; и нас познакомили с теми, кого мы не знали, и в том числе — с молодой, внешне интересной женщиной, которая представилась скромно и просто: «Галина». Я и понятия не имел, что это Галина Брежнева.

Так состоялось знакомство. Наверное, если бы я был писателем, я бы говорил сейчас о том, что весь вечер старался смотреть только на Галину Леонидовну, ибо вдруг стало как-то очень уютно и хорошо; но я не писатель и скажу как было: этот человек мне сразу понравился. Мы о чем-то поговорили, но не очень долго, вечер близился к концу, пришла пора расставаться и все разъехались по своим домам. Не помню, просил ли я Галину Леонидовну оставить свой телефон, как это обычно бывает между людьми, установившими добрые отношения, — кажется, нет. В конце концов, компания была знакомая, и я решил, что где-нибудь мы, конечно же, встретимся.

Прошло какое-то время, и получилось так, что Галина Леонидовна сама позвонила мне на работу. В удобной и оригинально-шутливой форме спросила, куда же я исчез, почему не звоню. Не скрою, я обрадовался такому звонку.

Мы тут же решили встретиться после работы, Галина Леонидовна заехала за мной, и мы провели вместе целый вечер. Мне было очень интересно. Эта женщина нравилась мне все больше и больше. Потом я уехал в отпуск, отдыхал в Подмосковье, Галина Леонидовна несколько раз приезжала ко мне, и я тоже ездил в Москву. Наши отношения стали сердечными. И только тут она призналась, чьей дочерью является.

Может быть, и не стоит об этом подробно говорить, но читатель помнит, какой ажиотаж был поднят в газетах и журналах вокруг нашей семьи. Лучше я сам скажу, как же все было на самом деле.

Когда мы с Галей решили пожениться, она пригласила меня на дачу к отцу. Только решение оформить наш союз законным образом было принято, конечно, не с бухты-барахты, а после

долгих совместных размышлений. У меня были и просто человеческие колебания: «А по Сеньке ли шапка?», — спрашивал я себя. Все-таки такое дело, Галина Леонидовна — дочь Генерального секретаря ЦК КПСС, я войду в его семью, готов ли к этому, как еще все получится?

И вот Галя говорит, что Леонид Ильич хочет со мной встретиться и познакомиться. Конечно, состояние у меня было очень сложное: знакомство не с простым человеком, с руководителем нашей партии и государства, — оторопь, одним словом, была достаточна велика. Но раз надо знакомиться — значит надо.

Все знают, что Леонид Ильич и Виктория Петровна, его супруга, имели квартиру на Кутузовском проспекте. Это пять или шесть комнат обычной планировки. Шум, гам — за окном обычная московская жизнь.

Что и говорить, здесь не было необходимых условий для полноценного отдыха, поэтому свою московскую квартиру Леонид Ильич не любил и бывал здесь крайне редко, всего пять-шесть дней в году. В Подмосковье, в Одинцовском районе, у него была государственная дача. Он жил там круглый год. Пройдет время, и в самом конце 70-х годов Леониду Ильичу предложат новую благоустроенную квартиру на улице Щусева. Конечно, тут было лучше, чем на Кутузовском проспекте, центр рядом, всего несколько минут езды; но то ли Леонид Ильич был однолюб, то ли еще что, — он посмотрел новую квартиру и сказал, что она для него чересчур большая. Скорее всего, она просто не понравилась ему своей казенностью, что ли, я не знаю.

А квартира на Кутузовском была скромнее: это обычный московский дом старой постройки, потолки что-то около трех метров, комнаты в среднем 25–30 метров: столовая, небольшой рабочий кабинет, спальня, гостиная… Обслуживающий персонал — всего три человека: повар, готовивший пищу под руководством Виктории Петровны (она всегда подсказывала, что Леонид Ильич любит больше всего и как это получше приготовить), официантка и уборщица. Охраны здесь не было, она размещалась внизу на первом этаже. В самом подъезде (дом имел один подъезд)[1] кроме семьи Брежневых и Юрия Владимировича Андропова, который жил двумя этажами ниже, были квартиры министров, партийных и советских работников, причем разного ранга; то есть это не был дом Брежнева, это был обычный дом № 26, расположенный на Кутузовском проспекте. Здесь, в этой квартире, у Леонида Ильича была хорошая библиотека и такая же, если не больше, находилась и на его даче.

Сколько же было публикаций об этой даче Генерального

секретаря! Вся беда в том, что я, например, не видел ни одной фотографии к этим публикациям. А кто-нибудь их видел? Интересно, почему бы не показать?

Ведь Леонид Ильич жил не на какой-нибудь супердаче: это был обычный трехэтажный кирпичный дом с плоской крышей. Наверху располагалась спальня Леонида Ильича и Виктории Петровны, они все время предпочитали быть вместе — и когда Леонид Ильич 10 ноября 1982 года принял смерть, Виктория Петровна спала рядом; небольшой холл, где он брился (сам, но чаще приглашая парикмахера). На втором этаже две или три спальни для детей, очень маленькие, кстати говоря, от силы 9-12 метров с совмещенным туалетом и ванной. Мы спали на обычных кроватях из дерева. Внизу жилых комнат не было, там находились столовая, рядом кухня и небольшой холл.

На третьем этаже Леонид Ильич имел уютный, но совсем крошечный кабинет. Там же была библиотека. Обычно он отдыхал здесь после обеда, и никто не имел права ему мешать. Всех посетителей Леонид Ильич принимал в основном на работе. На дачу приезжали только близкие товарищи, это было довольно редко — обычно гости собирались к ужину и разъезжались, как правило, часов в десять, в половине одиннадцатого, не позже.

Леонид Ильич старался жить по строгому распорядку, мы знали этот распорядок, и его никто не нарушал. В одиннадцать он уже спал. Леонид Ильич ложился с таким расчетом, чтобы проснуться не позже девяти.

На всю дачу приходился один видеомагнитофон и один телевизор — советского производства, по-моему, «Рубин». Леонид Ильич всегда очень внимательно смотрел программу «Время», а потом уходил спать.

На первом этаже был кинозал, в нем стоял бильярд, на котором Леонид Ильич почти не играл. Но это не кинотеатр — именно кинозал, где Леонид Ильич обычно смотрел документальные фильмы. Он их очень любил, особенно фильмы о природе.

В доме был бассейн, где-то метров пятнадцать в длину, а в ширину и того меньше — метров шесть. Утром Леонид Ильич под наблюдением врачей делал гимнастику. Рядом с домом был запущенный теннисный корт, на нем никто не играл; и он быстро пришел в негодность, зарос травой.

Правда, весь дачный участок занимал довольно большую территорию, но не больше, чем у других членов Политбюро. После работы и в выходные дни Леонид Ильич очень любил пройтись по свежему воздуху. За пользование государственной дачей с него, так же как и со всех, высчитывали деньги, не знаю,

сколько. Но знаю, что за нее платили, так как Виктория Петровна, которая распределяла бюджет семьи, иногда «докладывала»: «Все в порядке, за дачу я заплатила на полгода вперед». На что Леонид Ильич посмеивался: «А как же, ведь мы здесь живем, платить-то надо». Разумеется, деньги платили и за квартиру на Кутузовском проспекте.

Вот сюда, на загородную дачу, Галина Леонидовна и пригласила меня для встречи с Леонидом Ильичом.

…Это был обычный день, мой отпуск шел к концу. Приехали где-то к обеду. Галя сразу познакомила меня с Викторией Петровной — я увидел очень простую, удивительно обаятельную женщину. Сели за стол, и она как-то так повернула разговор, что моя скованность, давайте употребим это слово, быстро прошла. Если посмотреть со стороны, — за столом сидели два хорошо знакомых человека и мирно беседовали на самые разные житейские темы.

Вечером мы с Галей были в кинозале, смотрели фильм, — и я даже не сразу заметил, как вошел Леонид Ильич. Только вдруг на фоне света увидел: стоит коренастый человек в серой каракулевой шапке-пирожке. Я поднялся, а он спрашивает: «Ты — Юрий?» — «Я». Тут он говорит: «А чего ты такой высокий?» Я хотел отделаться шуткой, но она у меня как-то не получилась, а он сказал: «Хорошо, я сейчас пойду разденусь, потом поужинаем и поговорим». Вот так состоялось знакомство.

Потом был ужин: Леонид Ильич, Виктория Петровна и мы с Галей. Он задал вопрос: «Ваше решение серьезно?» И меня и Галю спросил. «Да, мы подумали». И с моей стороны было сказано: «Да».

Леонид Ильич поинтересовался, где я работаю. А я занимал должность заместителя начальника политотдела мест заключения МВД СССР, курировал как раз те зоны, где теперь вот сам сижу. Он никак не отреагировал, видно, знал уже — кто и на какой должности. Что и говорить, пока мы не сели ужинать, я чувствовал себя очень скованно. Но Леонид Ильич так легко держал себя, так уважительно относился к своему молодому собеседнику, так хорошо вспоминал о своем рабочем прошлом; сказал мне, что в органах внутренних дел надо серьезно трудиться, — что скованность незаметно прошла. И вот уже за столом сидели два человека, которым было о чем поговорить.

Кстати, Леонид Ильич — человек очень неплохого юмора, интересный, живой собеседник; когда мы расставались, я был уже совершенно раскованным и питал самые добрые чувства к родителям своей будущей жены.

Видимо, я все-таки понравился ему. И не потому, что

широкий в плечах, кареглазый… Наверное, не только поэтому.

В то время у Галины Леонидовны недостатка в женихах не было. И уровня они были повыше, чем подполковник Чурбанов. Молодой офицер, еще не известно, как у него сложится служебная карьера, не споткнется ли он… Но — понравился.

Мы расписались в загсе Гагаринского района. Леонид Ильич категорически запретил нам обращаться во дворцы бракосочетания; он хотел, чтобы все прошло как можно скромнее. Мы специально выбрали день, когда в загсе был выходной. Приехали, нам его открыли, мы расписались, поздравили друг друга — что и говорить, пышное получилось торжество при пустом-то зале.

Свадебный ужин проходил на даче и длился часа три. Можно представить себе робость моих родителей, когда их доставили на большой правительственной машине на дачу Генерального секретаря ЦК КПСС. Из двух костюмов отец выбрал лучший, что-то подыскала мама, все считали, что они нарядно одеты, а мне их было до слез жалко. Конечно, они очень стеснялись, мама вдобавок ко всему еще и плохо слышит, но отец держался с достоинством, не подкачал.

Гостями с моей стороны были брат, сестра, несколько товарищей по работе, Галя тоже пригласила двух-трех подруг — в общем, очень узкий круг.

Было весело и непринужденно. Леонид Ильич сам встречал гостей, выходил, здоровался. Представляю себе состояние того человека, кого он, как хозяин, выходил встречать, но потом выпили по рюмке и скованность ушла.

Вот не помню, были ли танцы — кажется, нет; кто-то смотрел в кинозале фильмы, кто-то просто прогуливался по территории. За столом царила приятная и добрая обстановка. Леонид Ильич сам назначил себя тамадой, очень много шутил, рассказывал какие-то веселые истории и был с гостями до конца, пока все не разъехались. Вот так мы с Галиной Леонидовной Брежневой стали мужем и женой.

…Несколько слов о себе. Я родился 11 ноября 1936 года, а 10 ноября, если читатель помнит, День советской милиции. Мой отец, Михаил Васильевич, сын крестьянина. Мать, Мария Петровна, родом с Украины. Она моложе отца на пять лет, но они еще бодрятся, хотя отец перенес инсульт и тяжело болеет. Живут в Москве в небольшой двухкомнатной квартирке. Недалеко от них, на улице Алабяна, квартира моей сестры, а брат с семьей живет в такой же двухкомнатной квартире на улице Фестивальной, у Речного вокзала.

Может быть, я мог бы помочь им получить благоустроенные

квартиры где-то в центре. Но в отличие от того, что пишут наши газеты, я подобными вопросами никогда не занимался; так как по существующим в Москве нормативам та площадь, которой располагали мои близкие родственники, была вполне достаточной и, понимая это, они никогда ко мне с подобными просьбами не обращались.

Не могу сказать, что в школьные годы я был образцовым пионером и никаких ребячьих шалостей не совершал. Но и на учете в детской комнате милиции я, конечно, не состоял; а вот остаться на второй год однажды пришлось — это было в седьмом классе, когда мы переехали из одного района Москвы в другой.

Отец — старый партийный и советский работник; когда я оканчивал школу, он работал председателем райисполкома Тимирязевского района Москвы. В районе было четыре института, в том числе и знаменитая Сельскохозяйственная академия. Мать очень просила устроить меня хоть куда-нибудь, но отец наотрез отказался. Он сказал так: «До тех пор пока ты не познаешь рабочий коллектив и не поймешь, чем он живет, тебе в институте делать нечего». И я попал в ремесленное училище.

Есть в Москве завод «Знамя труда», прежде это был «почтовый ящик», сейчас его «рассекретили». Вот при этом заводе находилось «базовое» ремесленное училище, где я стал осваивать профессию слесаря-сборщика авиационных узлов. Не скажу, что все давалось легко, но жили мы в ремесленном по-своему весело.

Разумеется, как каждому пацану, мне были нужны карманные деньги — на кино, на мороженое. Родители не имели возможности щедро одаривать: нас в семье было трое детей. И вот во время каникул я собирал ватагу ребят, мы ездили на станцию Москва-Казанская разгружать вагоны с овощами. Так зарабатывались деньги на карманные расходы. А то, что бригадир разрешал нам набивать свои сатиновые шаровары яблоками и уносить их с собой, — так я все приносил на родительский стол.

Помню одного мастера, который со стипендии отбирал у нас по «трешнику» — себе на выпивку. Собрав «мзду», он недели две был в загуле, а потом все повторялось снова. Боже мой, как мы его ненавидели! Стипендия была 23 рэ, а тут еще неизвестно зачем нужно было трешку выкладывать. Обидно до слез, но все давали и молчали. Я тоже молчал. Почему? Не знаю…

Окончил училище — и меня направили на авиационный завод. Тут я неплохо зарабатывал, и все до копейки приносил домой, в общий котел, так у нас было принято. В бригаде сборщиков я был самым молодым, первое время пришлось тяжело, а потом втянулся — и ничего.

Через два года, в 1957-м, комитет комсомола завода

рекомендовал меня для работы на Московском фестивале молодежи и студентов.

Это были незабываемые дни. Они оказались настолько яркими, что их можно вспоминать поминутно, — ведь именно тогда к нам впервые приехали делегации Америки и Израиля, мой Ленинградский район над ними «шефствовал». Славные были ребята, их все интересовало: от наших помоек, на которые они, надо сказать, были «запрограммированы», до архитектуры Кремля. Правда, помойки им быстро осточертели, да и мы от них почти ничего не скрывали, никого не опекали: рано утром уезжали на заводы и фабрики, в пионерские лагеря — и весь день был в их распоряжении. Не хочешь добираться на автобусе — возвращайся пешком, только не забудь, где твоя гостиница. А забудешь — тебе покажут…

Меня тянуло на комсомольскую работу. Фестиваль закончился, и я вдруг получил лестное для себя предложение — стать инструктором Ленинградского райкома комсомола Москвы. Еще в ремесленном меня избирали заместителем секретаря комитета ВЛКСМ училища; работая на заводе, входил в состав цехового бюро и, кроме того, активно участвовал в общественной жизни заводской молодежи. Видимо, в райкоме комсомола это заметили.

Сразу скажу, что я всюду соприкасался с интересными, порядочными, исключительно положительными людьми. Общаясь с ними, кроме пользы, я ничего для себя не извлекал; то есть вот этой тяги к наживе у меня никогда не было, да и быть, я думаю, не могло. Хотя комсомольские работники тех лет получали очень скудную зарплату, а семейные ребята просто еле-еле сводили концы с концами.

Потом, в 1961-м, по решению МГК КПСС я первый раз был направлен на работу в органы внутренних дел. Не могу сказать, что шел с удовольствием, но это было партийное поручение. Сначала работал инструктором по комсомолу политотдела Главного управления мест заключения РСФСР, затем был переведен помощником начальника политотдела Управления мест заключения по Московской области; а потом меня снова взяли на комсомольскую работу — в аппарат ЦК ВЛКСМ. То есть выслуга лет в комсомоле у меня достаточно большая.

В аппарате ЦК ВЛКСМ я был инструктором, заведующим сектором отдела пропаганды. Это был тот самый сектор, который, хотя и назывался «по работе с подростками», но на самом деле занимался предупреждением и профилактикой различного рода правонарушений среди детей и подростков.

Сейчас такое время, когда мы (особенно с помощью прессы]

подвергаем сомнению буквально все, чем гордились годами. Поливаем, как хотим, и комсомол. Дошла и до него очередь. В печати постоянно появляются статьи о разложении в системе ЦК ВЛКСМ, чуть ли не о коррупции.

Я никогда не поверю, чтобы наш комсомольский брат позволял себе что-то такое. Мы занимались каждый своим конкретным делом. Каждый молотил свою копну.

Я пришел в ЦК ВЛКСМ при Павлове, работал при Тяжельникове и Пастухове — об этих товарищах, руководителях всесоюзного масштаба, остались самые добрые впечатления.

Забегая вперед, скажу, что Леонид Ильич был в курсе всех дел комсомола. Особенно уважительно он относился к Тяжельникову. Пригласив его на работу в ЦК КПСС, Леонид Ильич не скрывал, что Тяжельников очень перспективный аппаратчик, что он делает на него ставку; и со временем, если все будет хорошо, то это, возможно, будущий секретарь ЦК партии по идеологии.

Как-то раз Леонид Ильич приехал к себе на дачу, там были и мы с Галиной Леонидовной. Сели ужинать, и Леонид Ильич стал делиться впечатлениями о только что состоявшемся интересном разговоре с Тяжельниковым. «Да, мы в нем не ошиблись», — бросил тогда Леонид Ильич.

Не знаю, о чем думал Юрий Владимирович Андропов, почему сразу же после ухода Леонида Ильича из жизни убрал Тяжельникова из аппарата ЦК КПСС и отправил его послом в Румынию? Не потому ли, что Андропов сам был идеологом?

Да и другие комсомольские лидеры — каждый из них был ярок и самобытен, каждый оставил свой след. Не могу понять, почему инициативы комсомола тех лет сейчас предают анафеме. Хотя бы ударные комсомольские стройки, это же замечательно! Мне самому доводилось принимать в них участие, более трех месяцев я находился на целине, видел эту молодежь; бывал в Липецке, на строительстве металлургического комбината, — все это осталось в памяти.

Мы часто уезжали в командировки, иногда всем отделом ЦК, пристально и глубоко изучали опыт комсомольских организаций страны, бывали на заводах и фабриках, в исправительных трудовых учреждениях (я уже тогда получил некоторое представление о колониях и тюрьмах). Когда возвращались в Москву, проходил живой обмен мнениями, каждый старался, чтобы его записка была глубже и интереснее. Никаких интриг! Мы не болели «болезнью взрослых»; в ЦК ВЛКСМ была создана отличная атмосфера для работы.

А если приходило время отдохнуть, так уезжали все вместе;

если у кого-то свадьба, то приглашался весь отдел, и кроме подарка каждый старался захватить с собой — как же иначе! — продукты из дома. Мы часто встречались по вечерам, но это были не пьянки, как сейчас пишут — это были нормальные молодежные вечеринки. Все в меру.

Если комсомольский работник развелся — уже ЧП. Он должен был объясниться и в своей первичной организации, и у руководства ЦК ВЛКСМ. То есть у нас просто не было сил на всякого рода недозволенное времяпрепровождение. Карали за подобные вещи жестоко.

Словом, не все было плохо. Именно комсомолу мы обязаны тем, что у нас появились замечательные партийные работники. Секретарем ЦК ВЛКСМ в середине 60-х годов был Солико Хабеишвили, человек резкий, моторный, очень интересный. Когда я находился в Лефортове, Гдлян вдруг сказал мне, что Хабеишвили, занимавший тогда высокий пост секретаря ЦК КП Грузии, тоже арестован, что ему инкриминируется обогащение на сумму почти полтора миллиона рублей; при обыске в квартире изъяты десятки килограммов чистого золота, — а теперь выясняется, что ничего этого нет и не было. Опять же, со слов Гдляна, я понял, что Солико живым из тюрьмы не выйдет, что он якобы уже сломался, что они его ведут под расстрел; и еще намекнул на кого-то «из Кремля», чуть ли не на Шеварднадзе.

Только из газет уже здесь, в колонии, я узнал, что Солико Хабеишвили не сдался. После того, как к власти в Грузии пришел Джумбер Патиашвили, секретарь ЦК, как и Солико, он просто решил избавиться от Хабеишвили и поступил с ним как в Средневековье: кинул его в тюрьму. А когда с расстрелом не вышло, когда на суде люди отказались лжесвидетельствовать, спутав карты Патиашвили, с Солико решили расправиться иначе: его поместили в тюремный карцер, где он, уже пожилой человек, просидел больше двух лет. В этом ледяном каземате, где гуляли крысы, а в дождливые дни было по колено воды, он находился ровно до 9 апреля 1989 года, когда в Грузии произошли трагические события, и Патиашвили был отстранен от власти. Сейчас Верховный суд республики сократил срок заключения Солико Хабеишвили на целых восемь лет, и через год, если все будет хорошо, он будет на свободе.

Здесь, в колонии, я прочитал его интервью. Уму непостижимо, что пережил этот человек. Но разве он один?

По-доброму я вспоминаю Отара Черкезия, секретаря ЦК ЛКСМ Грузии. В последние годы он работал председателем Совета министров Грузинской ССР. Вот это все одна «команда» — Хабеишвили, Черкезия; все они работали с Шеварднадзе.

Горьковским обкомом руководил Янаев, потом он перешел в Комитет молодежных организаций и возглавил его. Сейчас Янаев — секретарь ВЦСПС[2]. Я работал вместе с Вези-ровым, курировавшим тогда отдел рабочей молодежи, — он запомнился мне как энергичный агитатор; Пуго тоже возглавлял в ЦК ВЛКСМ один из отделов, нам приходилось вместе решать многие проблемы и вопросы.

Я хорошо помню Снечкуса. Это был человек большой судьбы, старый революционер, подпольщик, отдавший свою жизнь делу становления в Литве советской власти. Вряд ли Снечкус и его жена, тоже бывшая подпольщица, согласились бы с теми процессами, которые происходят сейчас в Литве. Галина Леонидовна и я — мы оба питали исключительно глубокие симпатии к Снечкусу и каждый раз, когда приходилось посещать Вильнюс, возлагали на его могилу цветы.

Мне кажется, мы обязаны не забывать те конкретные полезные дела, которые проводил комсомол. Я лично уходил на службу в органы внутренних дел с хорошей, если так можно сказать, начинкой — комсомольской, идеологической. То есть все лучшее, что позволяла моя черепная коробка, я впитывал от комсомола.

Мне это помогало и в последующей работе. Щелоков широко открыл двери МВД перед комсомольскими вожаками. Некоторые ребята, как говорят, «съехали набок», что-то не получилось, но многие нашли там свое призвание, работают и по сей день. Они посылают мне сюда, в колонию, письма, в которых просят не терять бодрости духа, передают привет.

Стараюсь поддерживать с ними переписку. В какой-то мере это помогает.

Да и тут многие заключенные — бывшие офицеры органов внутренних дел: встречаемся, обсуждаем, вспоминаем наши конкретные дела. Не могу сказать, что меня очень тянуло на работу в милицию. Но это было поручение. Есть такое понятие, как партийная дисциплина. Хочешь не хочешь — а надо. Для пользы государства. Поэтому я не сопротивлялся.

Это был 1967 год. Меня назначили заместителем начальника политотдела мест заключения РСФСР.

После комсомола эта работа еще долго казалась мне чересчур академичной, «бумажной», очень хотелось живого и разностороннего общения, к которому я привык; не хватало задора, что ли, но вместе с тем накапливался и первый профессиональный опыт. Я почти безвылазно бывал в местах лишения свободы, объехал многие «зоны».

Тогда это были другие колонии, чем теперь. Разница

довольно существенная. На месте «общежитий», где сейчас живут зэки, тогда стояли бараки-развалюхи, там было полно клопов и крыс. На территории колоний я крайне редко видел деревья, хотя это средняя полоса, а не пустыня.

А офицерский состав, работающий здесь, в основном составляли люди, не нашедшие себя «на гражданке». У них был только один выход: устроиться туда, где нужны хорошие кулаки и крепкие челюсти. Жутко что было.

* * *

Еще когда я работал помощником начальника по комсомолу мест заключения Московской области, хорошо помню свою первую командировку в Серпухов (тогда все основные тюрьмы располагались по Владимирскому тракту). Добрался туда уже под вечер, электричкой, начальник тюрьмы — полковник, бывший фронтовик встретил меня неласково и говорит: «Ладно, уже поздно, я пойду домой, а завтра встретимся и поговорим». «Хорошо, — отвечаю, — а я пока что познакомлюсь с комсомольской организацией» (по нашим данным тюремная организация ВЛКСМ плохо платила комсомольские взносы). Встретился, разобрался — вид у этих надзирателей жалкий, одежонка неважная. Ну, что тут скажешь, честное слово… Наступила ночь. А где спать? Ведь никто тебе гостиницу не закажет. В кабинете начальника стоял кожаный диван, там я и расположился. Дали мне подушку, укрылся шинелью, заснул.

Тут еще вот какое дело: в тюрьме была, конечно, своя контрольно-надзирательная служба, но прибывший из Москвы, из политотдела, офицер для них был в эту минуту старшим начальником. Случись что, решение принимать именно мне.

И вот ночью я просыпаюсь от страшного шума. Что такое? Вбегает насмерть перепуганный дежурный помощник начальника следственного изолятора (ДПНСИ) и докладывает: «В одной из камер бузят заключенные, надо срочно что-то делать». А я — первый раз в тюрьме, зэков сроду в глаза не видел — и вот мы идем по этим коридорам, мат стоит такой, что невозможно передать; причем, кто хлеще матерился — надзиратели или зэки, это еще спросить надо.

Оказывается, кто-то зэков обидел. Чего-то им не дали, вот они и «восстали». Ну, успокоили их как-то, я лег спать, хотя заснуть не удалось.

Утром пришел начальник тюрьмы, ему доложили все как есть… «Ладно, — говорит он, — разберемся».

Остаемся мы вдвоем. «Ну как, страшно было?» — спрашивает. «Конечно, — говорю, — тюрьмы бузит!» — «Да это не тюрьма, это же мы тебя проверяли!» Я так и сел… «Ну и шуточки, — говорю, — у вас тут…» А он смеется, хотя я понимаю этого старого фронтовика: он войну прошел, а я для него мальчишка, молокосос…

Не знаю, конечно, точно, но мне кажется, что зэков тогда у нас было больше, чем сейчас. Вот так, изо дня в день, я проработал три года, занимаясь вопросами пропаганды и агитации, идейного воспитания, как личного состава, так и заключенных.

* * *

Ну, а когда женился, кто-то, видимо, сказал Леониду Ильичу, что негоже получается: зять Генерального секретаря ЦК КПСС — и тюремщик. Тогда меня перевели заместителем начальника Политуправления внутренних войск МВД СССР, присвоив звание полковника. И хотя сейчас пишут, что сразу после женитьбы передо мной открылась головокружительная карьера, никто не обращает внимания на тот факт, что и в политотделе мест лишения свободы я занимал полковничью должность. Кстати, если уж говорить о перспективах, то на моей прежней работе их было гораздо больше.

Тогда, в 1972 году, Политуправление внутренних войск МВД СССР возглавлял генерал-лейтенант Котов. Это был, безусловно, опытный кадровый работник, но он не имел высшего образования. И все, конечно, понимали, что бога за бороду он не схватил. Разумеется, появление молодого тридцатипятилетнего полковника было встречено с его стороны без восторга и аплодисментов, тем более, что самому Котову было уже под шестьдесят.

Мне выделили очень маленький служебный кабинет, где-то около 15 квадратных метров, так что при всем желании он вмещал не больше 6–7 человек. Один или два рабочих телефона, несколько стульев — в общем, строгая, деловая обстановка. А у начальника наоборот, шикарный и удобный кабинет — с «кремлевской», аппаратом ВЧ, адъютантом и т. д. Ничего этого у меня не было. Даже туалет у начальника управления — свой, а я и другие «замы» — вместе со всеми. Но кто обращал на это внимание?

Я занимался вопросами идеологического воспитания и политико-воспитательной работой среди личного состава

внутренних войск. Идеологическая работа велась на фоне тех задач, которые выполняли внутренние войска. В их компетенцию входила охрана исправительно-трудовых учреждений, промышленных объектов, но главным, конечно, была ответственная и трудоемкая работа по охране общественного порядка. «Генерала» я получил не сразу, как пишут сейчас, только через три года, хотя эта должность — генеральская; а между полковником и генералом нет никаких уставных сроков, это воинское звание присваивается по результатам работы.

Были, конечно, люди, которые из холуйских или конъюнктурных соображений прямо, даже не переговорив со мной, обращались не только к Щелокову, но и к Брежневу с просьбами побыстрее присвоить мне звание генерал-майора. Об этом мне рассказывал сам Леонид Ильич.

Однажды, когда Леонид Ильич был не в наилучшем расположении духа, он вдруг остановил меня, взглянул… из-под этих бровей и спрашивает: «Тебе что, генерала приспичило, что ли?» Я очень удивился и спрашиваю: о чем, собственно, речь? «Да вот, есть тут ходоки…»

Одним словом, Леонид Ильич сразу дал понять, что генеральские погоны надо еще заслужить — заработать. Под горячую руку у меня и с Щелоковым был разговор. Николай Анисимович искренне негодовал: кто же это за его спиной мог обращаться к Брежневу?

* * *

А пока суть да дело, я внедрялся в работу, изучая сложный идеологический механизм политорганов, партийных и комсомольских организаций внутренних войск. Все это требовало времени и большого напряжения, были интересные командировки, встречи и беседы в первичках с коммунистами, комсомольцами, солдатами и курсантами военных училищ; я постепенно входил в новую для меня армейскую среду, где все, от солдатской художественной самодеятельности до серьезных вопросов партийно-политической и идеологической работы во внутренних войсках, было важным и интересным. Я чувствовал, что эта работа мне все больше и больше нравится.

Где же только мы не побывали с моими верными солдатами-водителями! Сколько эти ребята машин перебили! У меня были и лихие водители, и инфантильные, все они одинаково добросовестно били машины. Но я любил не лихих, не инфантильных шоферов, а честных, то есть тех, из кого лишнюю

информацию не вытянешь. Не скажу, чтобы я боялся «стукачества» или еще чего-то, и чувствовал недоверие к себе со стороны руководства Управления и МВД. Просто я всегда считал, что в такой организации, как наше министерство, лишняя информация, лишние вопросы-ответы совершенно не нужны.

Наступил 1975 год. В работе Политуправления все чаше и чаще появлялись сбои. Генерал-лейтенант Котов увлекся неслужебными делами: я имею в виду ремонт собственной квартиры с привлечением солдат-строителей, бесконечное приобретение товаров и продуктов на базах и в солдатских магазинах, увлечение разного рода «сувенирами» и т. д.

Вокруг этого было много нездоровых разговоров и слухов. Они усиленно муссировались среди сотрудников аппарата Политуправления, обрастая уже самыми невероятными деталями. Разумеется, все это не способствовало созданию нормальной и деловой обстановки, и было ясно, что Котова нужно освободить от занимаемой должности.

Одним из замов начальника Политуправления, когда я пришел, оказался полковник Беликов — человек «себе на уме», очень скрытный и хитрый. Сейчас Беликов на пенсии, по-моему, живет в Москве и занимается организацией филателистических выставок. Он раньше, чем я, получил «генерала», хотя в аппарате этого вечно брюзжащего и чем-то недовольного человека не любили.

Другим заместителем Котова был опытный и спокойный генерал Гридин, кадровый военный, — на службу в МВД он пришел из Закавказского военного округа.

Вот три заместителя: Беликов, Гридин и Чурбанов. Кого назначить начальником управления? Выбор пал на меня, и не только, думаю, потому, что я был зятем Генерального секретаря ЦК КПСС — просто на весы были положены и возраст всех троих в первую очередь, и деловые качества. Кроме того — главное — *учитывался* «вид на будущее».

Короче, я стал начальником Политического управления внутренних войск МВД СССР. В первое время было очень трудно строить взаимоотношения, прежде всего, со своими заместителями. Я чувствовал себя в какой-то мере неловко потому, что они были старше и опытнее меня, больше и лучше знали сотрудников аппарата, жизнь войск. Но постепенно все встало на свои места.

Беликов не мог пережить, что я оказался начальником, и сразу сказал мне, что он не желает со мной работать. Ну, а какое у меня могло быть желание держать под боком «торпеду», которая в любой момент могла взорваться? И неизвестно еще, в какую

сторону полетят осколки! Я откровенно сказал ему: «Илья Григорьевич, или мы будем работать вместе, или — расстанемся». Он промолчал. Скоро стало ясно, что нужно расставаться. И это было сделано только в интересах дела.

А с генералом Гридиным я, наоборот, работал вплоть до своего ухода в министерство. И о Петре Семеновиче у меня остались самые теплые воспоминания.

Став начальником Политического управления, я постепенно пришел к выводу о необходимости кадровых изменений: мы нуждались в омоложении аппарата. Это вовсе не означает, что я, сам молодой генерал-майор, подбираю себе новую «команду». Ветераны внутренних войск, все, кто меня помнит, никогда не скажут, я думаю, что Чурбанов необдуманно «рубил головы» налево и направо. В кадровой политике я был очень осторожен. Часто находясь в командировках, внимательно приглядывался к молодым политработникам, выделяя умных и знающих офицеров. Для меня совершенно очевидно, что политработником нужно родиться. Таких людей я встречал и среди молодых офицеров московского гарнизона, здесь было много ребят с академическим военным образованием, — в беседах с ними я проверял их отношение к делу, смотрел на общий уровень образования и т. д. И вот с учетом того, что в аппарате Политуправления было много офицеров, имевших выслугу в 25 лет и выше, мы очень осторожно, уважительно относясь к этим опытным заслуженным людям, подбирали им замену. Работали дружно и интересно.

В 1975 году я был награжден орденом Красной Звезды. В Указе говорилось: «За боевую и политическую подготовку личного состава внутренних войск и в связи с 30-летием Победы над фашистской Германией».

Через год, в 1976-м, меня назначили заместителем министра внутренних дел СССР. Было это так: приближались ноябрьские праздники, до парада на Красной площади оставалось еще несколько дней; мы с Галиной Леонидовной ехали на дачу, вдруг в машине раздался телефонный звонок из приемной Леонида Ильича, и дежурный секретарь спросила, на каком отрезке шоссе мы сейчас находимся. Получив ответ, она сказала: «Юрий Михайлович, сейчас с вами будет говорить Леонид Ильич».

Первая мысль была — что-то случилось, какое-то ЧП во внутренних войсках. Мы остановились. Стало тихо. В машине раздался телефонный звонок. Леонид Ильич поздоровался, спросил, на каком участке пути мы находимся и, получив ответ, сказал: «Поздравляю тебя с новой должностью». Я опешил, спрашиваю: «Какая должность?» — «Ты назначен заместителем Щелокова». «Как же так, — говорю, — Леонид Ильич, со мной же

никто не посоветовался». «Ну, вот еще, — полушутя, говорит он, — надо мне с тобой советоваться! Это решение Политбюро, я его только что подписал. Кстати, тебя рекомендовал Щелоков. И еще: тебе только что присвоено звание генерал-лейтенанта…»

Не могу сказать, что от счастья у меня сердце в пятки ушло, наоборот, я говорю: «Леонид Ильич, к такому объему работы я, наверное, просто не готов». «Ничего, — усмехнулся Леонид Ильич. — Ты возьмешь на себя кадры и обо всех кадровых проблемах будешь докладывать лично мне». Тут я понял, что докладывать надо, так… в общем, минуя Щелокова.

Почему, чем это было продиктовано, не знаю. Леонид Ильич тут же сказал, что к кадрам в МВД нужно относиться очень бережно и уважительно, с максимальной щепетильностью. Не думаю, чтобы Леонид Ильич не доверял Щелокову. Скорее всего, он просто нуждался в объективной информации, в том числе, и по вопросам кадровой политики МВД СССР. Все-таки это был 1976-й: с одной стороны, еще относительно молодой и энергичный Генеральный секретарь ЦК КПСС, с другой — уверенный в себе и работоспособный министр внутренних дел. И в то же время назначение зятя Генсека на должность заместителя министра, ничего ему предварительно не сказав. Словом, Леонид Ильич прокомментировал назначение таким вот образом…

3

Мне был 41 год. Если честно, то я думаю, что Щелоков, конечно, не просил за меня Брежнева и никуда меня не выдвигал. Он мог сделать меня начальником Политуправления внутренних войск или назначить на какую-нибудь другую высокую должность, но никогда не отдал бы ключи от своего кабинета. Тут, видно, была задумка Леонида Ильича. И он преследовал, конечно, вполне конкретную цель…

Через несколько дней я перебрался на Огарева, 6. Кабинет моего предшественника оказался махоньким — во всяком случае, мой кабинет в Политуправлении был куда лучше. Но ничего, для работы он вполне подходил.

Меня встретил помощник прежнего заместителя министра Александр Николаевич Тимофеев. Впоследствии оказалось, что это исключительно скромный и глубоко порядочный человек. Я сразу спросил: «Александр Николаевич, вы хотите работать со мной?» Все-таки разница в возрасте была у нас весьма солидной. Он ответил: «Да, я хотел бы работать, если вы не возражаете». Вот так мы и договорились.

Все эти годы полковник Александр Николаевич Тимофеев был моим преданным помощником и добрым товарищем. До последнего дня мы работали вместе.

Гдлян с Ивановым под него тоже «копали». Пугали, уговаривали, опять пугали. Тимофеев и другие офицеры, которые со мной работали, честно отвечали, что Чурбанов из командировок в Узбекистан ничего, кроме фруктов, не привозил. (Да и как бы я мог? Тимофеев знал, что я ездил в Узбекистан с небольшим «дипломатом», куда могли войти только спортивный костюм, майки и бритвенный прибор. А сверху, как хотелось бы Гдляну, «кучу денег» не положишь, «дипломат» просто не закроется.)

Короче, Александр Николаевич выстоял. Он ведь бывший фронтовик. Здесь, в колонии, я иногда получаю от него письма. Пишут мне и мои бывшие водители — Сережа Белов и Коля Каплун. Николай работал со мной еще в Политуправлении, Сергей пришел, когда я был в министерстве, — вот он, пожалуй, был единственным человеком из моего окружения, кому я действительно помог с двухкомнатной квартирой, потому что у него в семье произошло прибавление, родился малыш.

Мне не запомнился какой-то большой и принципиальный разговор с Щелоковым после моего назначения — разговор, нацеленный на решение каких-то неотложных вопросов. Он

поздравил меня с новой должностью и порекомендовал прислушаться к советам генерал-лейтенанта Ивана Ильича Рябика — начальника Управления кадров министерства. Он был человеком Щелокова. Партийный работник с Украины, Рябик несколько лет работал в Комитете народного контроля СССР, потом оказался в МВД. Это был хитрый мужик, настоящий кадровик, который никогда ни перед кем не раскрывал свою душу и замыслы. Тем более, он не раскрывал самое главное: тайн своей кадровой политики. А они у него были. И Щелоков рекомендует его слушать! Совет есть совет — ну, а добрый он или недобрый, сразу не узнаешь.

Но я насторожился: работая в Политуправлении внутренних войск, я уже успел узнать этого самого Рябика. Обращаясь к нему с какими-то вопросами, я видел, что он очень многое принимает «в штыки», а многое просто тормозит.

По вечерам я набрасывал возникающие вопросы, писал, какие мне нужны документы, чтобы побыстрее внедриться в новый для себя объем работы. Тут я заметил, как тонко и расчетливо поступает Рябик. По-моему, он делал все возможное, чтобы лишить меня достоверной и полноценной информации. Но вида я не подавал и ждал, что же будет дальше.

Считаю, что в этом плане мною были проявлены большое терпение и культура, — во всяком случае, на конфликт — я все еще не шел, надеясь, что Рябик изменит свои «методы», что мы действительно будем работать сообща и вместе. С помощью других служб и через своего помощника я все-таки получал необходимую информацию и документы, конечно, не такого качества и объема, который мог бы представить кадровый аппарат, но для первого знакомства этих документов было вполне достаточно.

По вечерам Рябик регулярно бывал у меня в кабинете, вроде бы для решения каких-то вопросов, но все это было не совсем так, конечно: на самом деле Рябик достаточно искусно навязывал мне свои кадровые «рецепты», чтобы я не отступал от этих «рецептов», внедряясь в его работу. А ему было что скрывать.

В конце концов, мне надоело делать вид, что ничего не смыслю, и тогда наши вечерние встречи стали носить уже другой характер. Они заканчивались конкретным поручением в его адрес, а мой помощник все это брал на контроль.

Словом, получилось, что кадровым аппаратом министерства руководят два человека: опытный генерал-лейтенант Рябик, пользующийся большой поддержкой у министра Щелокова, и молодой, энергичный генерал-лейтенант Чурбанов, недавно пришедший на работу в министерство и пока что откровенно

«плавающий» в каких-то вопросах.

Сотрудники очень внимательно наблюдали за нашим заочным «состязанием». Щелоков был об этом осведомлен, но он не вмешивался. Видимо, его расчет заключался в том, что мы сами выясним свои отношения, но симпатии министра были, конечно, не на моей стороне. Щелоков и Рябик давно работали вместе. У них был прочно отлаженный механизм взаимодействия в решении самых щепетильных кадровых вопросов, свои «мерки» и интересы, в которые меня не посвящали. Это была «святая святых» Рябика. Прочными нитями он связал весь аппарат. И в руководстве органов внутренних дел на местах тоже были в основном его люди, работавшие там уже многие годы.

Когда я стал выходить на все эти вопросы, то нити, протянутые Рябиком и Щелоковым, откровенно проглядывались. Прямо скажу, в их кадровой политике меня многое настораживало. Но как с этим бороться? Сырую нить сразу рвать нельзя, потом может не оказаться той «пульки», на которой ее было бы можно восстановить.

Прежде всего я занялся анализом, старательно взвешивая все «за» и «против». Очень не хотелось ошибаться. В основном эта работа шла по вечерам, когда никто не мешал. Помощник не выдерживал таких нагрузок, да у него и семья, не мог он находиться со мной до поздней ночи, поэтому я занимался в основном один.

Вот так, постепенно, я пришел к глубокому выводу, что в кадровой политике руководства МВД СССР накопился целый ряд неотложных проблем, что у нас много «сорных» кадров. А вот как избавиться от этих «сорняков», как подойти к решению всех наболевших вопросов — да так, чтобы не стать возмутителем спокойствия, раз и навсегда отказавшись от достаточно опасного принципа «новая метла по-новому метет», — тут стоило, конечно, поломать голову.

И начинать нужно было с Рябика. Тем более он оказался одним из долгожителей министерства, ему шел уже седьмой десяток. Заручившись поддержкой Отдела административных органов ЦК КПСС, я прямо поставил этот вопрос перед министром. Щелоков уже ничего не мог сделать. Конечно, Рябику не хотелось расставаться со своим креслом, с льготами и привилегиями, которые у него были. Да и Щелоков, конечно, был недоволен тем, что я активно включился в работу, хотя вида не подал: уступив мне, он все-таки назначил Рябика своим консультантом по кадрам, открыв для него новую должность с высокой зарплатой; но я сразу сказал, что такой консультант в министерстве, по-моему, не нужен. Щелоков понял, что тут он

совершил ошибку, и Рябик ушел на работу в Академию МВД СССР.

Вместо него был назначен генерал Дроздецкий. Толковый человек, энергичный и работоспособный. Стал укрепляться кадровый аппарат центра; кадры укреплялись и на местах. Те руководители органов внутренних дел, которые имели полную выслугу лет и по состоянию здоровья уже не могли полноценно исполнять свои обязанности, уходили в отставку.

Здесь, в Москве, мы составили подробный перспективный план замены кадров по каждой республике, краю и области. Подбиралась талантливая молодежь, к руководству на местах пришли опытные и энергичные офицеры 40–45 лет. Вот так, без шума и треска, мы постепенно обновляли органы внутренних дел. И первые результаты не замедлили сказаться. Щелоков быстро потерял какой-то пристальный интерес к нашей работе, так как в этом вопросе у него теперь не было большого влияния. А прав я был или не прав — доказывала сама жизнь.

Все считали, что между Щелоковым и мной возникли нормальные деловые отношения. Когда у нас проводились заседания Коллегии, служебные совещания, да и просто в общении с сотрудниками аппарата, Николай Анисимович все время подчеркивал: вот, мол, у нас есть молодой, растущий заместитель министра, у него еще все впереди и т. д. Он не уставал оказывать мне знаки служебного внимания. В то же время, уже за моей спиной, Щелоков по-прежнему решал наиболее ответственные кадровые вопросы — причем так, чтобы мне становилось неловко перед людьми.

Скажем, к нему на подпись ложатся бумаги о назначении нового человека на должность, входящую в номенклатуру Коллегии министерства. Все вроде бы заранее обговорено и согласовано. Вдруг, уже на самой Коллегии, я узнавал, что эта должность, допустим, переиграна. Или что вместо одной кандидатуры утверждается другая, хотя предыдущий кандидат был согласован в Отделе административных органов ЦК КПСС.

Что ж, допустим, точки зрения министра и его заместителя — расходятся. Ну и что? Всегда может быть компромиссный вариант. А так — не работает. Я имею в виду формы решения этого вопроса. Естественно, последнее слово оставалось за министром. Таких заместителей, как я, у него было до восьми человек, и хотя каждый из нас отстаивал свою точку зрения, решение было за ним. Это предусмотрено и Дисциплинарным уставом Вооруженных сил СССР. Я не могу сказать, что кандидатуры, предложенные министром, были хуже или лучше, чем те, которые предлагал наш аппарат, речь о другом: все-таки с

мнением людей, тем более — своих заместителей полагается считаться. Конечно, мы работаем коллегиально, но ведь отвечает персонально каждый из нас, а я как руководитель могу отвечать только за тех сотрудников, в ком уверен.

Когда все это со стороны Щелокова превратилось в систему, я стал возражать. Считаю, достаточно принципиально. Причем меня обычно поддерживал Отдел адморганов. Но и у Щелокова была поддержка в ЦК КПСС. Не могу сказать, что наши отношения ухудшались. Ни я, ни — думаю — он ни за что бы на свете не допустили этого ухудшения. Оно неминуемо сказалось бы и на расслоении аппарата, а мне совершенно не хотелось, чтобы какая-то часть сотрудников поддерживала только меня, тогда как другая, пусть даже большая, стояла бы на стороне министра. Вот так мы и работали.

* * *

Первым заместителем Щелокова в то время был генерал-лейтенант Виктор Семенович Папутин. Он старался вообще не вникать в кадровые вопросы.

Папутин был случайным человеком в органах внутренних дел. Он долгие годы работал первым секретарем Подольского горкома КПСС (это довольно большая партийная организация), потом был вторым секретарем Московского обкома партии, являлся депутатом Верховного Совета СССР. Щелоков как-то рассказывал мне, что назначение Папутина на должность первого заместителя министра было для него, то есть для Щелокова, полнейшей неожиданностью.

И я узнал об этом назначении тоже совершенно случайно. Вместе с Леонидом Ильичом мы с Галей находились на отдыхе в Крыму, как вдруг на даче в рабочем кабинете Леонида Ильича зазвонил телефон, ВЧ. Звонил Иван Васильевич Капитонов, секретарь ЦК КПСС, занимавшийся вопросами организационнопартийной и кадровой работы. Из обрывков разговора я понял, что речь идет о каком-то новом лице. Помню, Леонид Ильич спросил: «А этот вопрос уже со всеми согласован?» Судя по всему, Капитонов ответил: «Да». «Ну, что ж, — сказал Леонид Ильич, — раз согласован, то назначайте». Вот так без Леонида Ильича, когда он находился далеко от Москвы, был назначен Папутин. Кому это оказалось выгодно, какие «пружины» сработали — я не знаю. Наверняка, Щелокову сказали, что этот вопрос согласован с Леонидом Ильичом, Леониду Ильичу — что с Щелоковым; кто же на самом деле стоял за этой аппаратной

«игрой», сказать не берусь. Но не Андропов. Мне это ясно.

Очень скоро выяснилось, что в данном случае совершена большая кадровая ошибка, и что Папутин попал в МВД буквально «как кур в ощип». И хотя ему были поручены второстепенные службы (он ведал вопросами материально-технического снабжения), работа Папутина все равно оставляла желать лучшего.

Зимой 1979 года произошли трагические события. Виктор Семенович Папутин неожиданно покончил с собой. Помню, я был дома, когда раздался звонок от дежурного по министерству, сообщившего, что Папу-тин застрелился у себя на квартире. Туда выехал министр, сотрудники Прокуратуры СССР, которые сразу же провели предварительное расследование. Смерть была зафиксирована в его кабинете. Он почему-то был в верхней зимней одежде, но без головного убора, пуля прошла навылет, но самое главное — Папутин был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Думаю, что причиной этого самоубийства стали Афганистан, его частые выпивки, прогрессирующая болезнь печени; возможно, были и какие-то житейские неудачи. Вот такая деталь: Щелоков пытался организовать некролог в «Правде», но «Правда» отказалась его печатать из-за факта самоубийства. Некролог появился в «Известиях», он был очень короткий, даже без фотографии покойного. Никто из секретарей ЦК, кроме Капитонова, его не подписал.

А вот когда скончался другой заместитель, Никитин, то некролог с портретом был помещен в «Правде», его подписали все члены Политбюро. Хотя Никитин никогда не был «первым».

Похоронили Папутина на Новодевичьем кладбище, ему были отданы все воинские почести, но на митинге выступал, по-моему, только Щелоков, даже из обкома партии никто не приехал. Думаю, все «ориентировались» именно на некролог. Он был как сигнал. Те, кто хоронил Папутина, прекрасно знали, что он крепко пил; что из Афганистана его привезли в плохом состоянии, что потом он довольно долго находился в больнице с подозрением чуть ли не на болезнь Боткина. Причем тогда ходили всякие разговоры, что в алкоголь ему добавляли какой-то яд или очень сильный наркотик; ибо руководство Афганистана, которое уже тогда за спиной Советского Союза все больше сближалось с американцами, не было заинтересовано в той объективной информации, за которой и приехал в Афганистан Папутин. Газеты скрыли, что это было самоубийство. Писали иначе: «Скоропостижно скончался». Естественно, встал вопрос, кто же заменит Папутина.

Был поздний вечер, но я еще находился на работе, когда вдруг раздался звонок из приемной Леонида Ильича. Меня просили срочно приехать. Ни о чем не подозревая, я уже через несколько минут входил в его приемную. Леонид Ильич принял меня сразу же. Он сидел за рабочим столом в рубашке и галстуке. Вид у него был очень усталый. Леонид Ильич поинтересовался, как идут дела, а потом вдруг спросил: «Что все-таки произошло с Папутиным?» Я рассказал, как было дело. Он спрашивает: «Папутин сильно пил?» — «Работники аппарата, — говорю, — об этом хорошо знали». Много, мало — я оценку не давал. «Что, в Кабуле он тоже пил?» Пришлось ответить утвердительно.

Тогда Леонид Ильич нажал кнопку и снял трубку телефона (а у него была прямая связь с заведующим Отделом административных органов ЦК КПСС Савин-киным]. «Николай Иванович, — спрашивает Леонид Ильич, — от чего скончался Папутин?» Савинкин, не моргнув глазом, соврал: «Инфаркт, Леонид Ильич…» (Нам еще придется поговорить о Савинкине — это был опытнейший царедворец, хитрый и умный человек.) Что тут началось…

Леонид Ильич выдал ему сполна. Савинкин, видно, просто испугался; кто бы ни рекомендовал Папутина в МВД, кто бы ни стоял за его спиной, но отвечал за его назначение именно он. Немного успокоившись, Леонид Ильич спрашивает: «Кого отдел адморганов рекомендует на эту должность?» Не зная, что я нахожусь в кабинете Леонида Ильича — а слышимость по прямой связи прекрасная, Савинкин докладывает: «Мы подбираем туда одного из секретарей обкомов». Леонид Ильич так улыбнулся и спрашивает: «Николай Иванович, а не много ли у вас в МВД секретарей обкомов?» Савинкин отвечает: «Леонид Ильич, вот увидите, мы подберем хорошего». «Ну-ну, — говорит Леонид Ильич, — смотрите». И вдруг задает Савинкину совершенно неожиданный вопрос: «Вот у нас есть начальник Политуправления Чурбанов, как он работает?» Савинкин отвечает: «Леонид Ильич, он уже не начальник управления, он сейчас заместитель министра по кадрам». «А, черт, — говорит Брежнев, — из головы вылетело. Ну и как он работает?» — «Вы знаете, Леонид Ильич, хорошо, люди к нему идут». И вдруг Леонид Ильич говорит: «А ты знаешь, Николай Иванович, я бы не возражал, если бы отдел адморганов выступил с предложением о назначении Чурбанова первым заместителем».

Судя по паузе, «повисшей» на другом конце провода, Савинкин просто опешил. А он же не знает, что я здесь, в Кремле, в кабинете Леонида Ильича. Вдруг слышу: «Леонид Ильич, он еще так молод… ему рано… еще нет навыков… опыта…» — «Э, —

говорит Леонид Ильич, — тебе, Николай Иванович, сколько было, когда ты пришел на работу в ЦК? Ты у нас какой год работаешь?» Савинкин назвал большую цифру. «В общем, вы посмотрите, — завершил разговор Леонид Ильич, — а я возражать не буду».

Через несколько дней Щелоков объявил мне, что я назначен первым заместителем министра внутренних дел. По манере разговора я понял, что он встретил это известие без особого восторга и энтузиазма.

Кого бы Щелоков хотел видеть своим первым замом, я не знаю. Позже он как-то проговорился, что вообще не хотел иметь «первого».

Я видел, как Леонид Иьич переживает трагедию, случившуюся с Папутиным. Конечно, ему очень хотелось исправить ту ошибку, которая была допущена когда-то. Думаю, что мне он действительно верил.

* * *

… Расписавшись, мы с Галиной Леонидовной около года снимали квартиру в обычном доме на Садовом кольце, недалеко от американского посольства. Хозяева — муж и жена — уехали за границу, одна комната была закрыта на замок, там находились их вещи, а в нашем распоряжении имелись другая комната, ванная и кухня. У нас не было даже своей мебели, и мы весь год пользовались мебелью наших хозяев.

А какая это была мебель? Квартирантам хорошие вещи люди не оставляют. Потом мы еще очень долго жили в моей однокомнатной холостяцкой квартире на проспекте Мира у метро «Щербаковская». Леонид Ильич не торопился. Он не был человеком опрометчивых решений. Разумеется, никакой служебной машины у меня в тот период не было. Чтобы добраться до работы, жена тоже довольно редко вызывала «семейную машину». Единственное, когда заказывали продукты, тогда машина приезжала. Никаких машин в качестве свадебного подарка мы с Галей от Леонида Ильича не получали. У Галины, до замужества, кстати говоря, жившей с родителями, была своя малолитражка, так называемая «блоха», которую она сама же и разбила. После ремонта мы сдали ее в комиссионный магазин по цене, утвержденной государством.

Леонид Ильич очень любил Галю. В семье она была первым ребенком. Я не хочу сейчас выступать в качестве семейного биографа, раскрывать какие-то, может быть, секреты, хотя в жизни Галины Леонидовны никаких особых секретов вообще нет.

Если бы не наша «доблестная» пресса, я бы, наверное, просто не писал бы на эту тему. Но читатели хорошо помнят, какой ажиотаж подняла пресса вокруг семьи Леонида Ильича: Чурбанов — взяточник, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС — жила и живет не по средствам и т. д.

Лучше я сам расскажу, как же все-таки мы строили взаимоотношения. Кто захочет, кого не смогли убедить разного рода пикантные подробности из «сладкой жизни Галины Брежневой», как выразился депутат Рой Медведев, тот — поверит. Я все-таки думаю, что такие люди у нас еще остались, хотя пресса, надо отдать ей должное, развернулась вовсю.

По складу характера Галина Леонидовна — очень мягкий, очень добрый человек; вот эту мягкость, доброту, уважительное отношение к людям Галина Леонидовна взяла от Леонида Ильича. Сразу скажу, что у нее не было каких-то шикарных сверхтуалетов. Причем так: если дочь, приезжая к отцу и матери на дачу, была как-то вычурно одета, она получала от них нагоняй — и в следующий раз одевалась уже так, чтобы не раздражать родителей. Конечно, драгоценные украшения, которые любит каждая женщина, у жены были и есть. Но ведь это дарили родители.

С другой стороны, я все деньги приносил домой. Впрочем, о каких деньгах идет речь? Должностной оклад заместителя министра внутренних дел, я уже не говорю — первого заместителя министра — порядка 550 рублей. Выплата за генеральское звание — 120–130 рублей. Плюс — выслуга лет. На момент увольнения у меня выслуга лет составляла 29 с хвостиком, то есть я расписывался в ведомости за 1100 рублей. Нам с женой, которая тоже работала и имела оклад 250 рублей, вполне хватало.

Кроме того, как член Коллегии я имел талоны на питание. Детей у нас с Галиной Леонидовной не было. От зарплаты я оставлял себе деньги на уплату партвзносов, на питание в столовой и на сигареты; остальные деньги я в конверте приносил жене. У нас такая традиция была, никем не установленная: я их клал сверху на холодильник. Она распоряжалась моими деньгами, плюс — своих 250 рублей, но и родительская помощь, конечно, ее никто со счетов не сбрасывает. Почему же, спрашивается, не иметь хорошее украшение, которое идет женщине? Но никакой россыпи бриллиантов, о чем сейчас судачат на всех углах, у жены не было.

Очень контактная по складу характера и излишне доверчивая, Галина Леонидовна, быстро отзывалась на человеческие просьбы. Вот это, видимо, ее слабость, потому что

она не всегда замечала, что за обычной, казалось бы, просьбой кроется какое-то гнильцо. В общем, почти каждый человек пытался нажиться на этих просьбах, кого что интересовало — продвижение по службе или что-то еще, а Галина Леонидовна не обладала гибкой ориентировкой и всегда старалась помочь этим просителям.

До своего замужества Галина Леонидовна жила с родителями, собственной квартиры у нее не было. Родители Галю не отпускали, были очень привязаны к ней, поэтому она всегда была под контролем. Каких-то больших шалостей — не прощали. Не знаю, как складывалась личная жизнь Галины Леонидовны до встречи со мной, была ли это счастливая жизнь, все ли в ней ладилось, — мы редко или почти не касались этой темы.

Я давно заметил, что люди всегда охотнее говорят о настоящем, тем более, если прошлое не оставило какой-то яркий след. Галина Леонидовна редко подчеркивала, что она дочь руководителя страны, у нас никогда не было уборщицы, квартиру убирала она, а уж посудомоечные дела целиком лежали на ее плечах. Так же, как все, по выходным дням мы отвозили вещи в прачечную и химчистку. Свободного времени почти не было, Галина Леонидовна работала до самой смерти отца, да и потом еще несколько лет: сначала редактором в Агентстве печати «Новости», потом — у Громыко в МИДе, где она занимала должность заместителя начальника отдела историко-архивного управления. Очень редко (несколько раз в жизни) она бывала в зарубежных командировках, причем — только в социалистических странах. Мы никогда и не отдыхали за границей, как об этом писали в газетах, чаще всего это был Крым, реже — Подмосковье. А после ухода Леонида Ильича из жизни мы, по сути, вообще никуда не ездили. Трудно сказать почему: была, наверное, какая-то ложная стеснительность, нам казалось, что на нас смотрят, шушукаются на наш счет — поэтому все отпуска мы теперь в основном проводили на даче. Так, наверное, было лучше.

Первому заместителю министра внутренних дел полагалась государственная дача, но я никогда этой «привилегией» не пользовался. В 1979 году на деньги Леонида Ильича, но и добавив, конечно, собственные сбережения, мы построили свою дачу. Получилось, что все заместители министра и члены Коллегии пользовались госдачей, кроме первого заместителя министра. Причем — это были весьма шикарные дачи, я уж не говорю о даче министра, на которой жить было одно удовольствие.

Галина Леонидовна очень вкусно готовила. Виктория

Петровна старалась ей помогать, иногда она давала ей какую-то сумму денег на продукты, но не часто, — в общем, у них были обычные родственные отношения. Мое любимое блюдо — это омлет с колбасой и сосиски. Сейчас бы их покушать…

Затворниками мы, конечно, не жили, но и приемом гостей тоже не злоупотребляли. Будучи хорошей хозяйкой, Галина Леонидовна всегда радовалась, если гости оставались довольны.

Иногда мы тоже выезжали к нашим друзьям. В основном это были мои товарищи по службе, по линии жены — никого знакомых не было. Другая категория друзей — это те, с кем я работал в комсомоле, но они почти отошли от нас после смерти Леонида Ильича. Таких, ярко преданных, что ли, людей почти не осталось. Тут, видно, действует какая-то своеобразная формула: когда человек при должности, при положении, если угодно — при власти, он не испытывает недостатка в друзьях и товарищах. Но стоит ему чуть-чуть пошатнуться, как от него все бегут, как от прокаженного.

Но я, между прочим, и не обольщался насчет того, что это друзья на всю жизнь. По мелочам, но всем им было от меня что-то нужно. Кому-то я помогал, если просьба была реальной и выполнимой; я обычно ставил себя на место этого человека и думал: а не подведет ли он меня, не окажусь ли я тем самым просителем, которому потом будет стыдно? Если же люди шли с какими-то нежелательными просьбами, я их с порога отшивал. Прямо, глядя в глаза, говорил: вот тебе я помогать не буду, ты такой-то и такой-то. Обижались они? Конечно, обижались, но вида не подавали, оставляя себя для другой очередной просьбы.

* * *

Что же удивляться, если после 10 ноября 1982 года многие из этих «друзей» нас просто предали? Зато теперь всем моим заочным оппонентам из числа журналистов, кричавшим на всех углах, что я женился сугубо по расчету, я могу твердо сказать: в тяжелые для нашей семьи дни, потом превратившиеся в годы, мы, наоборот, сплотились, прощая друг другу какие-то слабости.

Я никогда не думал о том, чтобы оставить Галю. Эта мысль не возникала и при жизни Леонида Ильича, хотя — будем откровенны — в каждом доме случаются свои семейные неурядицы и скандалы. А когда ушедший отец задним числом объявляется уже чуть ли не «опальным», чуть ли не тем самым человеком, который за 18 лет развалил страну, привел ее к кризису и застою — в этой ситуации свой уход из семьи я бы

расценил просто как предательство.

И как только ни трепали газеты имя дочери покойного Генерального секретаря ЦК КПСС! Все шло по одной и той же схеме: бриллианты, любовники, вечно пьяный муж, какие-то цирковые дела и прочая «сладкая» жизнь.

Могу сказать одно: во всем этом очень много наносного. Если бы и была у Галины Леонидовны «сладкая» жизнь, то я бы, конечно, все знал. И, бесспорно, принял бы меры в защиту своей чести и чести моей жены. От меня было трудно что-то спрятать, МВД — организация серьезная, барометр так называемого «московского» трепа здесь всегда стоял на контроле.

Кроме того, не нужно забывать, что Галина Леонидовна была дочерью не простого человека. А там существует своя служба. Возможно, что отца не хотели раздражать или травмировать — я вполне допускаю эту мысль, но в той или иной форме он все равно бы что-то знал, тем более, если бы речь шла об уголовно наказуемых поступках. Конечно, кое-что за годы могло и проскользнуть, но чтобы было что-то архи-серьезное — я этого не допускаю.

Бывший председатель КГБ СССР Семичастный сейчас вообще договорился в своих «воспоминаниях» до того, что генерал армии Семен Кузьмич Цвигун, при Андропове работавший в КГБ СССР первым заместителем Председателя, покончил с собой, якобы потрясенный своим же собственным докладом Леониду Ильичу о каких-то неблаговидных поступках его дочери.

Правда, Семичастный тут же добавил, что он не верит этой «побасенке». Так вот, товарищ Семичастный, я тоже не верю. Более того, могу совершенно определенно сказать, что все это полная чушь. И кому бы, как не Семичастному, знать это! Если угодно, то ведь тут — деликатная информация, она не подлежит разглашению. Докладывает тот человек, который обладает информацией, причем только тому, кто в этой информации нуждается. Все. В таких делах не нужен посредник. Наличие посредника, кстати сказать, и вызовет самое большое неудовольствие, если уж на то пошло.

Тот же Семичастный утверждает, что Брежнев дважды приказывал ему убить Никиту Сергеевича Хрущева. Что же это происходит у нас с бывшими руководящими работниками, люди добрые?! Как же так можно? А доказательства?! Или у товарища Семичастного это уже… чисто возрастное явление?

Я еще могу понять, когда журналисты пишут заведомые глупости: у них семьи, дети, им надо как-то зарабатывать на хлеб, поэтому в погоне за сенсацией они готовы на все. Но когда вот так, без зазрения совести, лжет бывшая партийная номенклатура,

сводя с покойным Генеральным секретарем личные счеты, это уже недостойно.

* * *

…С братом Юрием у Гали не было, по-моему, близких отношений. По каким-то этическим соображениям, мне не очень удобно об этом говорить; но раз в прессе опять-таки появились статьи, то я сразу скажу, что Леонид Ильич часто упрекал его за опрометчивые поступки, за — бывало и такое — неэтичное поведение в загранпоездках. Леониду Ильичу ведь все докладывали. Утаить от него что-либо было практически невозможно, тем более, что Юрий работал у Патоличева — в Министерстве внешней торговли.

Человек слабый и безвольный, Юрий еще как-то держался, когда был торговым представителем в Швеции. Но перейдя на работу в министерство, он попал под влияние своей жены — умной и образованной женщины из Днепропетровска; и тут, в общем, не все было так, как надо.

Родственники знали, что брат и сестра не находили общего языка. Галина Леонидовна вообще не могла понять, как это мужчина может находиться под пятой женщины, у нас в этом плане были другие отношения; и только сердобольная Виктория Петровна смотрела на своего сына с сочувствием. Леонид Ильич внутренне жалел, что Юрий занимает достаточно высокую должность в этом ведомстве, но отстранять его от работы было не совсем удобно, так как огласка могла бы быть слишком шумная и нежелательная. Приходилось считаться и с политикой.

У Леонида Ильича был брат Яков Ильич. Металлург, крепкий и сильный человек, с хорошей закалкой, — недавно Галина Леонидовна писала мне, что у него скончалась жена, а вот как он сам сейчас — сказать не могу. Яков Ильич — пусть у него будет вот такой человеческий «порок» — никогда не обращался к Леониду Ильичу с просьбами, не намекал на то, чтобы его хоть кое-как повысили в должности. Как он был начальником главка, так и работал в Министерстве цветной металлургии до шестидесяти лет. А когда уходил на пенсию, то единственное, о чем он попросил Леонида Ильича, это разрешить ему остаться в министерстве на какой-нибудь работе, лишь бы не сидеть без дела. Яков Ильич довольно редко приезжал на дачу. Не знаю, бывал ли у него Леонид Ильич, по-моему, нет.

У них была сестра — Вера Ильинична. Такая скромная, такая обаятельная женщина, такая простушка, что если и было у нее 3–

4 платья, то она считала, что это очень хорошо. И такая тихоня — если приедет днем, а Леонид Ильич дома, так она вообще старалась не показываться ему на глаза. Только скажет: «Леня, здравствуй, как ты живешь?» — «Нормально, Вера». — «Нормально? Ну и хорошо…» И разошлись…

Наталья Денисовна, их мать, умерла в возрасте 87 лет. Это была очень крепкая женщина, с характером, прожившая большую нелегкую жизнь. Рано потеряв мужа, она сама вырастила троих детей, Леонид Ильич был очень привязан к Наталье Денисовне. В последние годы они жили вместе, правда, потом Наталья Денисовна — уж не знаю, почему — уехала к дочери.

Независимо от возраста Наталья Денисовна обязательно выходила на каждый завтрак с Леонидом Ильичом. Раньше всех садилась в столовой, просматривала газеты и всегда находила в них что-то интересное, сообщая Леониду Ильичу: «Леня, такая-то газета, ты обязательно прочти…» Леонид Ильич торопился на работу, ему некогда, но перечить матери тоже невозможно. Леонид Ильич всегда считался с Натальей Денисовной в житейских вопросах.

Она долго боролась с клинической смертью. У Натальи Денисовны было воспаление легких, оно быстро перешло в крупозное, поэтому спасти ее было совершенно невозможно. Мы знали, что она умирает, готовили себя к этому; не могу сказать, прощался ли Леонид Ильич с Натальей Денисовной в больнице, но на похороны он приехал и был с нами до конца. Мы вместе шли от ворот Новодевичьего кладбища до могилы, Леонид Ильич плакал, я его аккуратно поддерживал, за нами шли Виктория Петровна и Галина Леонидовна, а охрана стояла поодаль — так все это на фотографии и запечатлено. Поминки были на даче, в кругу семьи, больше никто не приглашался. Леонид Ильич быстро взял себя в руки, быстро отошел от горя, хотя переживал очень тяжело. Он умел руководить своей волей, своими чувствами.

Если же говорить о Виктории Петровне, то она прежде всего вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. Виктория Петровна очень любила Леонида Ильича, была преданной женой, знала сильные и слабые стороны своего супруга; всегда старалась сделать так, чтобы у него было хорошее настроение, отвлекая его от каких-то тяжелых мыслей и переживаний.

Леонид Ильич и Виктория Петровна прекрасно дополняли друг друга, и между ними не было никаких секретов. Да и как могло быть иначе? Они полвека прожили вместе, кстати говоря, здесь, на Урале, в 1929 году, если мне не изменяет память, Леонид Ильич работал землеустроителем, а Виктория Петровна была акушеркой и медсестрой. С тех пор и до самой смерти эти

люди были вместе и расстались на несколько лет только во время войны: Виктория Петровна дожидалась Леонида Ильича в эвакуации, в Алма-Ате. Они никогда не ссорились между собой, я такого не помню; только бывало, он вспыхнет, вспылит — и быстро отходит, вот и вся ссора. Виктория Петровна мастерски все это гасила и всегда была с Леонидом Ильичом, если он из-за чего-то переживал, если его подводили и просто обманывали люди, которым он доверял…

А переживать, наверно, было из-за чего. Не все ладилось в большом государстве.

4

10 ноября 1982 года, утром, в начале девятого, мне на работу позвонила Витуся, дочь Галины Леонидовны, и сказала: «Срочно приезжайте на дачу». На мой вопрос: «Что случилось?» — ответа не последовало. Я заехал за женой в МИД, и в скором времени мы уже были на даче. Поднялись в спальню, на кровати лежал мертвый Леонид Ильич, рядом с ним находились Виктория Петровна и сотрудники охраны. Юрий Владимирович Андропов уже был там. Позже подъехал Чазов.

Смерть наступила внезапно, ночью. Все произошло настолько быстро и тихо, что спавшая рядом Виктория Петровна просто ничего не слышала. Вскрытие показало, у Леонида Ильича оторвался тромб, попавший прямо в сердце.

Врачей рядом не было. Леонид Ильич по вечерам всегда отпускал врачей домой; он еще думал о том, что врач — тоже человек и ему, наверное, хочется провести вечернее время дома, вместе со своей семьей.

Девятого, накануне, Леонид Ильич приехал с охоты. Он был в очень хорошем настроении, поужинал, посмотрел программу «Время», несколько документальных фильмов, передал начальнику охраны, чтобы его разбудили в восемь часов утра, и пошел отдыхать. Утром он собирался поехать на работу, чтобы еще раз посмотреть материалы к Пленуму ЦК по научно-техническому прогрессу, который должен был состояться в Москве 15 ноября. Врач померил давление — это мне уже рассказывала Виктория Петровна — давление было 120 на 80. Смерть наступила где-то под утро.

Леонид Ильич еще собирался пожить. В последнее время, кстати говоря, он чувствовал себя гораздо лучше, чем прежде. А накануне Леонид Ильич был просто в великолепном настроении, много шутил, читая газеты. Вот такая внезапная смерть.

Прощание шло четыре дня. Утром 14-го я как всегда приехал на работу, просмотрел все оперативные документы, сделал какие-то звонки по телефону и медленно пошел в Колонный зал Дома союзов. Он был в траурном убранстве и впервые в жизни показался мне каким-то очень неприветливым и холодным. В 11 часов доступ к телу был прекращен. Пришел час прощания с покойным для родных и самых близких ему людей.

Галина Леонидовна старалась еще как-то держаться. Только у гроба, у самой могилы, сказала: «Прощай, папа». Слез уже не осталось, все было выплакано. Виктории Петровне предложили машину, чтобы доехать до Красной площади, но она наотрез

отказалась: «Этот последний путь с моим мужем я пройду сама».

Я шел за гробом, поддерживая с одной стороны Викторию Петровну, с другой — Галину Леонидовну. Потом шли Юрий Леонидович с женой, племянники, Вера Ильинична и Яков Ильич, внуки Леонида Ильича — Андрей и Леня. Никто из нас на трибуну Мавзолея не поднимался, мы остались там, где находились гости. Приехали президенты и главы правительств, руководители братских компартий — были представлены почти все страны мира.

Похороны оказались очень тяжелыми. Родственники Леонида Ильича прощались не с лидером партии и государства, мы хоронили самого дорогого для нас человека, с чьим именем были так или иначе связаны все наши надежды и помыслы. О чем я думал там, на Красной площади? Конечно, я спрашивал себя, что же будет с нами, прежде всего с Викторией Петровной, что ее ждет, как она будет жить дальше?

Официально своим преемником Леонид Ильич никого не называл. Он, как я уже говорил, не собирался умирать. Но если он и думал о преемнике, то это был именно Андропов. Многие из нас уже тогда понимали: если с Леонидом Ильичом что-нибудь случится, к власти придет именно этот человек. Суслов лишь номинально являлся вторым лицом партии. Он не мог быть Генеральным секретарем ЦК КПСС, Леонид Ильич, другие товарищи в Политбюро никогда бы этого не допустили. И не случайно, конечно, что, когда Суслов скончался, главным идеологом партии стал именно Андропов. Это было мудрое решение. Да и по тому «раскладу», который сложился в Политбюро после смерти Леонида Ильича, предпочтение было бы отдано либо Андропову, либо Устинову.

А Черненко на пост Генерального секретаря ЦК КПСС тогда просто не претендовал. Это был человек невысокого полета, безусловно, работоспособный, но очень больной, хотя это, как говорится, не его беда, — тем не менее, он никогда бы не смог подняться до реального осмысления тех сложнейших процессов, которые происходят в партии, в народе и за рубежом. Константин Устинович стал Генеральным после ухода из жизни Андропова лишь в силу политической «раскладки».

Ни Романов, ни Алиев, ни тем более Гришин не могли конкурировать с авторитетом и коэффициентом полезного действия Юрия Владимировича. Романов мог бы, наверное, претендовать на вторые роли в партии — это ведь не только идеология, это еще и кадровые вопросы, административные, вопросы партийного строительства и т. д.

Только Политбюро решало, кому и чем заниматься. Лигачев,

скажем, был вторым, а занимался сельским хозяйством.

Если же говорить об Андропове, то Леонид Ильич абсолютно ему доверял, может быть, даже чуть больше, чем другим членам Политбюро; хотя Дмитрий Федорович Устинов, и Андрей Андреевич Громыко тоже пользовались у него искренней симпатией. Со своей стороны Юрий Владимирович платил Леониду Ильичу тем же и ничего от него не скрывал, держал его в курсе — я это знаю — по всем наиболее важным позициям.

После похорон, 15 ноября утром я буквально на несколько минут зашел к Юрию Владимировичу в кабинет, чтобы от имени Виктории Петровны, Галины Леонидовны и всех родственников покойного Леонида Ильича поблагодарить его за внимание и поддержку, проявленные к нам в эти дни. Юрий Владимирович был очень усталый, он сидел за столом в рубашке и галстуке, у него в этот день были многочисленные встречи с руководителями государств и партий, прибывшими на похороны. Я высказал ему слова благодарности, и тут Юрий Владимирович, даже не обращаясь ко мне, а просто, как бы рассуждая сам с собой, сказал: «Да, Виктория Петровна — очень мужественный человек. Юра, пока я жив, никто вашу семью не тронет…» Он сдержал свое слово. Став Генеральным секретарем, Юрий Владимирович постоянно оказывал Виктории Петровне знаки внимания: если было нужно, ей выделялся специальный самолет, чтобы она имела возможность побывать в Карловых Варах и хоть чуть-чуть поправить здоровье. Константин Устинович тоже относился к вдове Генерального секретаря ЦК КПСС с должным уважением. А потом пришли другие времена…

После похорон мы приехали на одну из небольших подмосковных дач, где были организованы поминки. Собрались родственники, по-моему, чуть больше двадцати человек. От партии и государства присутствовал один Капитонов. Больше никого не было. Виктория Петровна не хотела, чтобы поминальный обед проходил шумно и помпезно, с бесчисленными речами. Мы с Галиной Леонидовной были за столом недолго, чуть больше часа, потом уехали и увезли с собой Викторию Петровну. Где-то через час разъехались и другие гости. Вот так похоронили Леонида Ильича Брежнева.

В день рождения и в день смерти Леонида Ильича мы каждый год всей семьей приезжали на Красную площадь и возлагали на могилу цветы. С годами Виктория Петровна чувствовала себя всех хуже и хуже, даже от ГУМа до могилы ей было очень трудно дойти.

Где-то в 1987 году Виктория Петровна совсем ослепла. В этот момент, как мне писала Галина Леонидовна, ее в двадцать четыре

часа выгнали с дачи, на которой она жила последние тридцать лет, и она переехала в Москву. Потрясенная несправедливостью и клеветой, обрушившейся на Леонида Ильича, она уже плохо понимала, что происходит вокруг нее; а с учетом той страшной болезни, которая у нее давно прогрессировала, ничего кроме слез все эти статьи у нее не вызывали. Не знаю, как ее выгоняли с дачи, я уже был в колонии, знаю только, что три комнаты в московской квартире она отдала племянникам, чтобы рядом с ней кто-то находился; хотя бы для того, чтобы сходить в магазин.

Я думаю, что пройдет время, и история, конечно, еще скажет свое объективное слово. Очень может быть, что мы еще многое пересмотрим из того, что движет нами сейчас, еще не раз оглянемся в прошлое, чтобы спросить себя, как все-таки мы прожили те годы, все ли было «в застое», как нам сегодня об этом говорят. Время воздаст справедливость.

Вспомним мы и Леонида Ильича Брежнева. Количество статей о Леониде Ильиче в последнее время не уменьшилось, наоборот, их стало больше. Пусть робко, но зато сейчас все чаще и чаще высказываются уже не такие однозначно-отрицательные оценки, как это было в первые годы перестройки. Тем не менее, голос людей, которые действительно знали Леонида Ильича и в силу служебной необходимости видели как он работает, все еще звучит очень осторожно. Правда пробивается по капле.

Ведь кто в основном пишет о Леониде Ильиче? Только журналисты. Это они у нас знают все на свете, все абсолютно. Есть публикации, которые — сразу скажу — вызывают лишь чувство отвращения, с ними я и спорить не буду. О них нельзя говорить всерьез. В других статьях есть, наверное, какие-то крупицы правды, но они, эти крупицы, все равно густо смешаны с разного рода догадками, слухами или просто сплетнями, часто выходящими за границы здравого смысла. Ну, о чем, скажем, говорить, если даже такой человек, как Борис Ельцин, пользующийся у нашего народа симпатией и поддержкой, «вспоминает» в своей книге «Исповедь на заданную тему», что Брежнев был не в состоянии сам наложить резолюции на разного рода служебные бумаги? И это пишет Ельцин — кто же, как не он, должен отвечать за свои слова! А таких бумаг, естественно, великое множество, они наверняка сохранились в архивах, их можно посмотреть.

Кто же работал за Брежнева, если не сам Брежнев? С другой стороны, нынче такое время, когда хорошо или — хотя бы! — уважительно говорить о Леониде Ильиче… как бы это помягче сказать… не модно, что ли. Нет такой газеты или журнала,

которые хотели бы сейчас идти вразнобой.

Так как же призвать людей к объективности? Что я могу сделать? Наверное, только одно: поделиться своими личными воспоминаниями и впечатлениями о Леониде Ильиче, сделав все возможное, хотя это и не просто, конечно, чтобы отойти от того, что принято называть «родственными чувствами».

…Когда в 1964 году Леонид Ильич Брежнев был избран Первым секретарем ЦК партии, я работал инструктором в аппарате ЦК ВЛКСМ. Как сейчас помню, я находился в служебной командировке в Томской области. Первым секретарем обкома комсомола там работал Борис Михайлов, затем мы встретились с ним уже в аппарате ЦК ВЛКСМ; а еще позже он перешел на службу в МВД СССР, и сейчас, по-моему, работает там (чуть ли не в пресс-центре). И вот, в один из тех октябрьских вечеров, мы решили зайти с ним в заводское общежитие, чтобы посмотреть, как живет молодежь. Вдруг слышим в одной из комнат возбужденные молодые голоса. Решили, что здесь ребята празднуют какое-то торжество, и, постучавшись, конечно, мы вошли. Так и есть: на столе у них стояло спиртное, они уже были немного навеселе; поинтересовались, кто мы такие, и пригласили за стол, налив по стакану «перцовки» (в то время это был самый ходовой и дешевый напиток, где-то по 2.12, как помню, за бутылку). Взяв протянутый стакан, я спрашиваю: «А по какому случаю?» Ребята радостно отвечают: «Хрущева сняли!»

Чего они так радовались, я не знаю, но тут же мелькнула мысль — вот ведь как активно молодежь страны откликается у нас на политические события. Со своими «мерками», конечно, но все-таки — активно.

Это имя — Леонид Ильич Брежнев — в то время мне мало что говорило. То есть я знал, разумеется, что это один из руководителей страны, но — не более того. Вернувшись в Москву, я подробно прочитал в газетах о состоявшемся Пленуме ЦК КПСС и лаконичную — в газетном изложении — биографию нового лидера партии. Не могу сказать, что тема смены руководства вызвала у меня прилив какого-то энтузиазма и вдохновения: в то время ударным фронтом комсомола были кукуруза, разведение птицы и кроликов, то есть мы больше интересовались какими-то конкретными делами, чем самой политикой. К Никите Сергеевичу Хрущеву у меня тоже не было — и не могло быть — какого-то уж совсем негативного отношения, так что в нашей среде Октябрьский Пленум ЦК КПСС не вызвал какого-то изумления или тем более потрясения. Да и во всей стране, я думаю, тоже.

* * *

Очень трудно, конечно, давать сейчас какую-то человеческую оценку всей жизни Леонида Ильича в кругу семьи. Но, вспоминая наше общение в стенах его дома, можно уверенно сказать, что это был очень хороший семьянин, человек с мягким и добрым характером, с большой любовью относившийся к своим близким. Он всегда радовался, если по субботним, воскресным или праздничным дням на дачу приезжали дети и внуки, находил для них время, знал, чем и как они живут, их настроения и проблемы.

Несмотря на то, что это были дети и внуки Генерального секретаря, у них, как и у всех людей, тоже, конечно, появлялись свои проблемы, служебные или — не так уж часто — семейные неурядицы. Но Леонид Ильич и Виктория Петровна о них знали и, если могли, всегда старались помочь, дать какой-то добрый совет. Если же кто-то из детей или внуков вдруг провинился, и все это приобретало огласку, то Леонид Ильич всегда спрашивал очень строго, и взбучка бывала.

Ну, какие это могли быть проступки? Допустим, кто-то нарушил правила дорожного движения или, скажем, высокомерно повел себя с сотрудниками ГАИ — Леонид Ильич обо всем этом быстро узнавал — и от него доставалось на «полную катушку». Впрочем, если говорить о внуках, то я не помню, чтобы они позволяли себе развязный образ жизни и были возмутителями спокойствия: ребята всегда держались в определенных «рамках» и воспитывались довольно строго.

Несколько раз, по-моему, Леонид Ильич и Виктория Петровна бывали на дне рождения у своего сына Юры. А вот у нас с Галей он не был ни разу. Виктория Петровна иногда, хотя и редко, приезжала к дочери, а он нет. Может, мы не очень настойчиво приглашали, может быть, это совпало с его нездоровьем, но факт есть факт: у нас он никогда не был. Зато Леонид Ильич иногда навещал внуков. Если это были семейные праздники, он обычно дарил какой-то подарок, говорил слова приветствия, немного общался с гостями и уезжал. Визиты к родственникам носили, конечно, очень короткий характер, но это и понятно: ведь когда-то надо было и отдыхать.

Наверное, можно сказать, что Леонид Ильич был вспыльчивым человеком. Это случалось. Но не в кругу семьи. Когда мы с женой приглашались на дачу или, скажем, во время совместного отдыха в Крыму, я не помню каких-то вспышек или размолвок с его стороны. Иной раз он комментировал свои впечатления от общения с кем-то: когда по-доброму, когда в резкой форме, если его собеседник оставил неприятное

впечатление, — но Леонид Ильич всегда очень быстро отходил или сразу же переключался на другую тему. В этом плане ему, конечно, была присуща определенная культура. Во всяком случае, он неплохо владел собой и умел держать себя в руках.

* * *

В общем, Леонид Ильич был широким человеком. Вот, я думаю, почему его в какой-то степени раздражал Михаил Андреевич Суслов с его вечным педантизмом и претензиями на всезнайство. Над Сусловым часто подсмеивались, причем не только у нас дома, но и в кругу членов Политбюро.

Суслов, скажем, несколько десятков лет подряд носил одно и то же пальто — и я помню, как в аэропорту, когда мы то ли встречали, то ли провожали Леонида Ильича, он не выдержал и пошутил: «Михаил Андреевич, давай мы в Политбюро сбросимся по червонцу и купим тебе модное пальто». Суслов понял, купил пальто, но в калошах, по-моему, так и ходил до самой смерти.

Из всех членов Политбюро он был единственным человеком, кто по Москве ездил только со скоростью 40 километров в час; об этом все знали, но Михаил Андреевич всегда спокойно отвечал, что Суслов и при такой скорости никогда и никуда не опаздывает. Однажды, я помню, кто-то из нас спросил: «Леонид Ильич, Суслов хотя бы раз в жизни ездил на охоту?» Находясь в хорошем расположении духа, Леонид Ильич часто бывал настоящим артистом. Тут он вытянул губы и пародируя речь Михаила Андреевича, протянул: «Ну что вы, это же о-чень… о-пасн-о…» Вот такая легкая была ирония.

Разъезжая с такой скоростью, Суслов, конечно, никогда не попадал в аварии, а вот у Леонида Ильича с его любовью к машинам и к скоростям — «какой же русский не любит быстрой езды!» — какие-то легкие аварии случались, когда он сам садился за руль. За пределами Москвы как-то раз была авария посерьезнее, но не с ЗИЛом Леонида Ильича, а с машиной сопровождения. Сам Леонид Ильич, и когда ему было за 70 лет, часто садился за руль.

Весь мир знал об этой страсти и многие лидеры западных стран — Брандт, Никсон и другие — дарили ему именно машины. На «Мерседесе» он почти не ездил, а вот машину, которую подарил Никсон, очень любил, считая, что она крайне удобна в управлении. Ездил он действительно быстро, вот тут уж Рой Медведев не ошибается: Леонид Ильич имел хорошие навыки в управлении автомобилем, это пришло к нему от службы в

Забайкальском военном округе, где он был танкистом. А как-то раз — я помню — он сам рассказывал мне, что в условиях войны ему довольно часто приходилось сидеть за «баранкой».

Когда мы прилетали в Крым, он всегда сам садился за руль, но не своего большого ЗИЛа, конечно, а иномарки, специально туда доставленной. И рядом с ним был не начальник охраны, как полагалось по инструкции, рядом с ним садилась Виктория Петровна, постоянно говорившая своему супругу только одно: не надо ездить быстро. К ее советам и просьбам Леонид Ильич обычно прислушивался.

Вот так, около двух часов, мы добирались до Ялты — в курортных зонах не может быть организованной толпы, никого, как говорится, специально «не сгоняли»; но люди узнавали Леонида Ильича, тепло приветствовали, желая хорошего отдыха. Так мы и шли по трассе: впереди машина ГАИ, потом охрана, затем иномарка с Леонидом Ильичом и Викторией Петровной, а за ними — мы с Галей. Что и говорить, любил Леонид Ильич садиться за руль, очень любил!

Случалось, что на охоте он сам ездил и на «газике», и на «уазике», но обычно начальник охраны вставал, что называется «стеной», не пуская его за руль; и уж когда совсем было нельзя, Леонид Ильич уступал их настойчивым просьбам.

Он ничего не боялся. У Леонида Ильича никогда не было «двойников», — как это сейчас пишут в газетах, более того: из двух ЗИЛов, бронированного и небронированного (в народе их не очень удачно, по-моему, окрестили «членовозами»), Леонид Ильич обычно выбирал тот ЗИЛ, который «полегче», потому что у бронированного был чуть хуже ход.

Да он и не думал никогда, что на него кто-то станет покушаться. И никаких покушений на жизнь членов Политбюро в 70-е, так же как и первой половине 80-х годов, не было. Светлана Владимировна, жена Щелокова, никогда не стреляла в Юрия Владимировича Андропова; руководитель Белоруссии Петр Миронович Машеров действительно погиб в автомобильной катастрофе (я об этом еще скажу), а Ф.Д. Кулаков, А.А. Гречко, Д.Ф. Устинов, А.Я. Пельше и другие члены высшего руководства страны умерли своей смертью.

* * *

Тем не менее, одно покушение на жизнь Леонида Ильича действительно, судя по всему, было. Уже здесь, в колонии, мне попалась на глаза большая публикация об этом инциденте в

журнале «Смена». Она, по-моему, так и называлась «Покушение».

Да, такой случай был. Во второй половине 60-х годов во время встречи героев-космонавтов, точнее, в тот момент, когда праздничный кортеж машин въезжал на территорию Кремля, по одной из них — той самой, где были космонавты Терешкова, Николаев и, кажется, Береговой, было совершено несколько выстрелов. Кажется, этот террорист, Ильин, проник в Кремль, чтобы действительно убить Генерального секретаря ЦК КПСС. Но дело в том, что Брежнев и сопровождавшая его машина охраны въезжали на территорию Кремля через другие ворота. А вот почему в таком случае этот человек стрелял в космонавтов, причем с близкого расстояния (то есть он хорошо видел, в кого полетят пули) для меня — загадка.

Неужели ему все равно было, кого убивать? Тогда Брежнев тут не при чем. Я-то всегда считал, что этот человек был сотрудником милиции, и только здесь, из публикаций «Смены», я узнал, что он, оказывается, не имел к органам внутренних дел никакого отношения, что он служил в армии и имел звание лейтенанта. Остается невыясненным только одно: как же все-таки Ильин проник на территорию Кремля, пройдя — пусть даже и в милицейской форме — через достаточно плотные кордоны тех служб, которые отвечали за общественную безопасность. У меня осталось твердое впечатление, что это была незапланированная акция: покушавшегося тут же арестовали, и по заключению авторитетной медицинской комиссии этот человек был помещен не в следственный изолятор КГБ СССР, а в психиатрическую лечебницу, где он находится, как пишут, и по сей день. Газеты тут же дали сообщение ТАСС об этом «провокационном акте»; кроме того, Москва — это такой город, где люди всегда и так все знают; однако, какого-то большого резонанса этот инцидент все-таки не вызвал.

Никогда Леонид Ильич о нем не рассказывал и не вспоминал. А если я у него спрашивал: «Почему ЗИЛ небронированный?», то он обычно отшучивался: «Интересно, кто же это в меня стрелять-то будет, кому я что плохого сделал?»

* * *

На моей памяти особенных терактов в Москве не было. Иногда, правда, кидали самодельные бомбы, — я помню, было что-то в районе 40-го гастронома на Лубянке; иной раз, хотя и редко, взрывные устройства тайно подкладывались в метро; но все это, конечно, единичные акции, никакой спланированной

«партизанской» войны против москвичей или — даже скажем так — против существовавшего государственного строя у нас не было. Не думаю, что все люди, занимавшиеся этой абсолютно бессмысленной деятельностью, на самом деле страдали психическими расстройствами, хотя мы всегда (это было удобно) говорили в печати именно так. Тут, конечно, сказывалась «перестраховка», наше вечное «как бы чего не вышло». Но всех этих преступников, действительно, врагов своего народа, было, слава богу, так мало, что мы могли их просто перебрать по пальцам.

* * *

…Вопросами охраны Генерального секретаря ЦК КПСС занималось Девятое управление КГБ СССР. Оно существует и сейчас, занимается, насколько я знаю, теми же самыми вопросами. Леонид Ильич имел небольшую охрану. Когда он ездил в зарубежные командировки, она усиливалась, но и принимающая сторона, в свою очередь, гарантировала личную безопасность высокого советского гостя. Все поездки Леонида Ильича за границу обычно проходили достаточно спокойно, в строгом, деловом режиме, никаких нежелательных эксцессов не было.

Мне думается, что Леонид Ильич пользовался определенной симпатией не только среди руководителей западных стран, но и среди их деловых кругов. Я так уверенно об этом говорю, ибо Леонид Ильич почти всегда возвращался из своих поездок переполненный самыми различными впечатлениями, и сам о многом подробно рассказывал. При нем была очень хорошая традиция: когда Леонид Ильич возвращался, все члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК собирались в здании правительственного аэропорта Внуково-2 и Генеральный секретарь ЦК КПСС по свежим следам делился своими впечатлениями. Тогда же принималось решение: принять к сведению информацию товарища Брежнева, одобрить итоги его визита и провести конкретные меры по таким-то и таким-то вопросам. Соответствующие ведомства тут же получали соответствующие указания. В зависимости от общего настроения и усталости Леонида Ильича эти встречи длились когда час, когда больше часа.

Сразу скажу: мне ни разу не приходилось бывать в зарубежных командировках вместе с Генеральным секретарем ЦК КПСС. Об этом не могло быть и речи. Виктория Петровна ездила

вместе с Леонидом Ильичом за рубеж всего один или два раза, да и то лишь в тех случаях, когда этого требовал протокол. Что же касается меня, то в этом смысле я вообще работал в другом графике; очень много ездил по нашей стране, особенно в первые годы на посту заместителя министра по кадрам; но когда по служебной необходимости приходилось бывать за границей, то, выполняя личные поручения Леонида Ильича, я довольно часто встречался с руководителями этих стран. Впрочем, об этом — не сейчас, потом, это уже отдельный рассказ.

На мой взгляд, Леонид Ильич был очень мужественным человеком. Уже где-то в возрасте 70 лет врачи удалили ему в области паха то ли осколок, то ли свернувшуюся землю со времен войны. Врачи говорили, что ему нужно полежать несколько дней, подготовить себя к операции, но Леонид Ильич настаивал (и настоял!), чтобы эта операция была сделана сразу, уже на следующий день. В клинике Леонид Ильич пробыл недолго, и даже там он умудрялся работать, с кем-то встречался, что-то диктовал.

Очень серьезную травму Леонид Ильич получил в Узбекистане. Я думаю, что теперь это уже не может быть каким-то государственным секретом. Приехав в Узбекистан для вручения республике ордена Ленина, он вдруг (во второй половине дня) решил посетить один довольно большой авиационный завод. Для всех это было полной неожиданностью — завод, что называется, к визиту Генсека «не готовили». Естественно, всем рабочим хотелось хотя бы краешком глаза посмотреть на Брежнева. И вот, когда Леонид Ильич вышел в сборочный цех, его встретила большая толпа людей, всем хотелось пообщаться с Леонидом Ильичом и просто от всего сердца его поприветствовать. Кто-то из рабочих, человек восемь, наверное, залезли на большой и тяжелый стапель **(так у автора** — Прим, ред.), чтобы оттуда все как следует разглядеть.

И вдруг, именно в тот момент, когда Леонид Ильич находился под этим стапелем, тот рухнул на него с высоты порядка 5–6 метров. Охрана успела поднять руки, но вся эта махина со всего размаха обрушилась на головы людей, придавив и Леонида Ильича. У него была переломана ключица. Один из членов охраны получил тяжелые увечья.

Все смешалось — шум, гам, крики. Охрана тут же бросилась на помощь, но Леонид Ильич сам, превозмогая боль, конечно, встал и, прежде всего, отдал распоряжение отправить пострадавшего охранника, молодого симпатичного парня, в госпиталь. Даже в этой ситуации он думал не о себе, а о людях; у этого парня была тяжелая травма, и он тихо вскрикивал от боли.

А на следующий день Леонид Ильич выступал на торжественном заседании ЦК КП, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Узбекистана, посвященном вручению республике высшей правительственной награды: рука с переломанной ключицей была искусно перевязана, блокирована новокаином. И хотя лечащий врач Леонида Ильича, умный и еще очень молодой человек, настаивал на немедленном вылете в Москву, Леонид Ильич решил не портить людям праздник и отложил этот вылет на утро следующего дня. Потом он довольно долго находился в больнице, дело медленно шло на поправку; кроме перелома ключицы Леонид Ильич, видимо, перенес и сильное психологическое потрясение — но он был сильным человеком и даже здесь, в палате, продолжал работать, звонил по разным телефонам, очень беспокоясь за судьбу урожая 1979 года **(так** у **автора. На самом деле Л.И. Брежнев был в Ташкенте в марте 1982 г.** — Прим. ред.).

Кстати говоря, вручая Узбекистану орден Ленина и лично очень хорошо относясь к Шарафу Рашидовичу Рашидову, Генеральный секретарь ЦК КПСС даже в этом, казалось бы, сугубо праздничном докладе подверг Рашидова определенной критике. Но что это была за критика? Я бы назвал ее так: «брежневская». Леонид Ильич, как никто другой, умел так журить людей, что они на него никогда не обижались.

* * *

Как-то раз у нас с ним был разговор о первых секретарях обкомов и крайкомов партии, и Леонид Ильич сказал так: «Каждого секретаря партийного комитета можно в любой момент снять с работы и всегда — при желании — можно найти, за что. Но прежде чем придираться к партийным секретарям, нужно помнить о той колоссальной ответственности, которая возложена на их плечи». А еще Леонид Ильич говорил, что больше десяти лет на посту руководителя областной или краевой партийной организации могут работать только те люди, которые действительно снискали авторитет и уважение среди своих коллег, а самое главное — среди народа.

И такие примеры у нас были, можно назвать многих руководителей: в Астрахани — Бородин, в Смоленске — Клименко, в Ростове — Бондаренко и т. д. А также первые секретари крупных республик: Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана. Леонид Ильич хорошо знал этих людей и доверял им полностью. Двери его

кабинета для них не были закрыты.

Вот, скажем, еще одна деталь: такой человек, как Егор Кузьмич Лигачев, хотя и строил в Томске «социализм», как он говорит, но его, в общем, не было не слышно, не видно. Я даже не помню, был ли он в составе ЦК КПСС. Тем более не помню, чтобы он как-то ярко выступал на пленумах. Может быть, я просто невнимательно слушал, конечно, но в память его речи не врезались.

И каких-то «любимчиков» у Генерального секретаря ЦК КПСС не было. Все работали в одной «упряжке». Причем как работали? Такие руководители республик, как Кунаев, Рашидов, Шеварднадзе, Алиев, Демирчян глубоко, как мне казалось, уважали Брежнева, но в рот ему, тем не менее, не смотрели, работали самостоятельно, советовались с Леонидом Ильичом, но еще чаще брали всю ответственность на себя.

Несколько сложнее складывались его отношения с прибалтами. Насколько я помню, Леонид Ильич ни разу не был в Прибалтике ни с рабочими визитами, ни на отдыхе. Трудно сказать почему. Те процессы, которые теперь происходят в Прибалтике, тогда не чувствовались, если они и были, то лишь в «зародыше». Но Леонид Ильич все-таки отдавал некоторое предпочтение закавказским республикам и Средней Азии. А в Прибалтику ездили другие руководители, в первую очередь Андропов. Зато мне не раз приходилось быть свидетелем того, как хорошо Леонид Ильич отзывался об Алиеве, Шеварднадзе и Рашидове. Они во многом дополняли друг друга.

Бывая в республиках, я почти всегда получал от них приглашения посетить их в домашней обстановке. Что ж, это и понятно — законы гостеприимства на Востоке и в Закавказье ставятся превыше всего. Но я, тем не менее, отказывался. С их стороны иной раз это приводило даже к какой-то ревности.

Особенно хорошо мне запомнился Гейдар Алиев: энергичный человек, талантливый оратор, и хотя я все-таки остерегаюсь по вполне понятным причинам давать сейчас какие-то оценки, мне всегда казалось, что он очень неплохо знает положение в своей республике, причем — в любой отрасли. По крайне мере, в том, что он досконально знает положение в органах внутренних дел республики, я убеждался не раз. Помню, Гейдар Алиевич был очень недоволен тем, как работает и ведет себя Велиев, человек тяжелого, я бы сказал, грубого склада характера, высокомерный милицейский чиновник, который, прежде чем возглавить Министерство внутренних дел Азербайджана, длительное время работал заведующим отделом административных органов ЦК КП Азербайджана. Велиев совершенно не замечал своих

подчиненных. Как говорится, не видел их «в упор». Гейдар Алиевич об этом знал. Подобного отношения к людям он не терпел. Моя и его точка зрения на стиль и методы работы Велиева, совпадали; мы его освободили, но инициатива — это важно — принадлежала прежде всего Алиеву. Говорю это потому, что сейчас вокруг Алиева очень много разговоров о «мафии» и разного рода негативных явлениях, в которых якобы он замешан. Не знаю.

Но вот только один пример. Сейчас все накинулись на Алиева за то, что он в Азербайджане преподнес Леониду Ильичу очень красивый и дорогой перстень. Сначала об этом перстне говорил Гдлян, потом взялись за дело журналисты. Уже здесь, в колонии, я читал не одну публикацию на эту тему. Сам Алиев в интервью, которое я тоже читал, говорит, что никакого перстня он Леониду Ильичу не дарил. Но Алиеву никто не верит. Я же свидетельствую, что он говорит правду: этот перстень в день семидесятилетия Леониду Ильичу подарил его сын Юрий. И этот перстень быстро стал любимой игрушкой — ведь сын подарил! — уже немолодого Генсека. Когда я работал в МВД, у нас, насколько я помню, не было никаких сигналов, что Алиев злоупотребляет своим служебным положением. Были ли такие сигналы в КГБ и Прокуратуру, я сказать не могу.

Вот другая интересная деталь. Накануне пленума или сессии Верховного Совета СССР первые секретари областных и краевых комитетов партии группами по 15–20 человек обязательно заходили к Леониду Ильичу. Шел совершенно откровенный и доверительный разговор — острый, критический. Причем без всякого с их стороны подхалимажа.

А как иначе? Встречались единомышленники, которые были готовы прямо и честно поставить перед Генеральным секретарем ЦК КПСС любые вопросы. После таких встреч Леонид Ильич всегда возвращался очень поздно и в хорошем расположении духа. Конечно, среди старых аппаратчиков ЦК КПСС подхалимаж имел место, не без этого, что и говорить; но по крайней мере заместителя по «аплодисментам» лично у Леонида Ильича никогда не было.

* * *

С другой стороны, частенько, особенно во время крымских встреч, замечал, как недоволен Леонид Ильич кем-то из своих собеседников (а многие из этих людей еще живы, так что я, может быть, пока повременю их называть). Тогда Леонид Ильич в

достаточно деликатной, но определенной форме ставил этих людей на место. Он не любил Чаушеску, весь этот румынский социализм у него кроме резких комментариев никаких других эмоций не вызывал. Но Чаушеску был вынужден терпеть критику Брежнева.

Гусак, Хонеккер, Живков пользовались у него авторитетом, хотя крымские встречи по ряду позиций международного коммунистического движения зачастую носили не только откровенный, но и очень резкий характер.

Именно в Крыму, кстати говоря, я непосредственно наблюдал, как Леонид Ильич работает. Его рабочий день начинался здесь в восемь утра. С помощником или двумя помощниками он уходил в свой кабинет, созванивался с теми руководителями крайкомов и обкомов, где имелись хорошие виды на урожай. Леонид Ильич всегда был противником повышения цен на хлеб, хотя некоторые члены Политбюро на этом настаивали. Он говорил: «Пока я жив, хлеб в стране дорожать не будет», — и всегда очень переживал из-за положения с урожаем.

То есть в Крыму Леонид Ильич работал так же плотно, как и в Кремле. А я просто удивлялся: зачем такой отдых нужен? Да и отдых ли это? Леонид Ильич купался часов до восьми утра, плавал он великолепно, по полтора-два часа держался на воде; правда, в последнее время уже начинал уставать и поэтому старался не злоупотреблять водой. Он обычно делал легкую гимнастику, иногда принимал оздоровительный массаж. Потом, как я уже говорил, уходил в свой рабочий кабинет, и так было до самого обеда.

Вечером — встречи с иностранными лидерами. К ним тоже надо было готовиться. Я видел, как он уезжал на эти встречи, какие папки с бумагами были у него в руках. После таких бесед он обычно возвращался очень уставший. Они проходили где-то неподалеку: кажется, это была бывшая дача Сталина. А возвращался он только к программе «Время», которую обязательно смотрел, ужинал, — и сразу шел отдыхать.

* * *

Сама дача, на которой мы жили с Леонидом Ильичом, когда-то принадлежала Хрущеву. Об этом рассказывали члены охраны. Обычный двухэтажный дом, по-моему, каменный, весь оштукатуренный и облицованный заново. Его несколько раз переделывали, менялась, очевидно, планировка комнат,

появлялась новая сантехника, но в общем, все оставалось как было. Если посмотреть по первому этажу, там находились две или три комнаты и спальни. Справа — кухня, неподалеку — маленький кинозал с бильярдом. Столовых было две: открытая, под тентом, и закрытая, на случай плохой погоды. Спальня Леонида Ильича и Виктории Петровны находилась на втором этаже. Там же был его рабочий кабинет. Территория дачи на редкость ухоженная, но совсем не большая; она располагала к длительным прогулкам. Рядом — дом отдыха «Пограничник».

В Подмосковье, у себя дома, Леонид Ильич тоже работал по вечерам. В вечернее время ему иногда звонили и члены Политбюро. Часто звонил Подгорный, хотя я не могу сказать, какие государственные вопросы мог по вечерам решать Николай Викторович. Звонил Громыко, сообщавший последние политические новости. Устинов и Андропов, пользовавшиеся, как я уже говорил, его наибольшей симпатией, старались звонить нечасто, только если действительно была срочная необходимость. А уж если звонили, то обязательно делились какой-то важной новостью или просто свежим анекдотом. Они знали, что Леонид Ильич никогда не откажет в разговоре, что он всегда сам снимает трубку, но учитывая его усталость и — особенно в последние годы — не очень хорошее состояние здоровья, звонили, чтобы просто перекинуться двумя-тремя словами, не забыв при этом интересы дела, пожелать Леониду Ильичу спокойной ночи или еще что. У них были искренние товарищеские отношения.

Возвращаясь с охоты в хорошем расположении духа, Леонид Ильич всегда говорил начальнику охраны: «Этот кусочек кабанятины отправить Косте (Черненко. — *Ю.Ч.*], вот этот — Юрию Владимировичу, этот — Устинову». Потом, когда фельдсвязь уже должна была бы до них донестись, брал трубку и звонил. «Ну как, ты получил?» — «Получил».

Тут Леонид Ильич с гордостью рассказывал, как он этого кабана убивал, как он его выслеживал, какой был кабан и сколько он весил. Настроение поднималось еще больше, те, в свою очередь, благодарили его за внимание, а Леонид Ильич в ответ рекомендовал приготовить кабана так, как это всегда делает Виктория Петровна.

Он очень любил охоту. И никто Леониду Ильичу медведей к дереву веревками не привязывал! Жюль Верн, я думаю, не поверил бы, узнав о том, что у нас пишут сейчас разные болтуны и фантасты! В Подмосковье есть много хороших мест для охоты, но это не заповедные «зоны» для членов Политбюро, о чем сегодня опять-таки столько разговоров, это обычные охотхозяйства, причем — с не «закрытой», а с не огороженной

территорией; ибо территорией для охоты был весь лес, куда хочешь, туда и иди, добывая зверя.

А перед тем, как приехать, нужно было обязательно обратиться в Росохоту и купить лицензию на отстрел. На кабана она стоит одну сумму денег, на оленя — другую. И никакие официанты или официантки там тебя хлебом-солью не встречают, это лес, продукты нужно было привозить с собой; что привез, то и покушал. Если удалось убить кабана или оленя, — так тебе его пожарят. Вот и все!

Леонид Ильич обычно ездил в Завидово, это где-то около 150 километров от Москвы по Ленинградскому шоссе. Не могу сказать, кому принадлежало это охот-хозяйство, кто его содержал, было ли оно на балансе ЦК. Просто не знаю.

Но дело в том, что и пребывание Леонида Ильича в охотхозяйстве тоже сочеталось с государственной работой. Скажем, Киссинджер в своих воспоминаниях прямо писал, что Завидово было рабочей резиденцией Генерального секретаря ЦК КПСС.

Что же касается меня, я только один раз в жизни был на охоте вместе с Леонидом Ильичом. Многие члены Политбюро там бывали, конечно, чаще, хотя охотой увлекались не все. В тот раз, когда я был в Завидове, там уже находились Гречко и Подгорный. Кстати говоря, вечером в день нашего приезда (это могла быть пятница или суббота) у Леонида Ильича и Андрея Антоновича состоялся какой-то неприятный разговор с Подгорным, который (это был 1974 или 1975 год) становился уже совершенно нетерпим, амбициозен, все хуже и хуже работал. Когда этот разговор начался, я сразу вышел из комнаты, оставив их одних.

Все как обычно: Завидово рядом с Москвой, всего полтора часа езды, охотники приезжают, размещаются, им готовят оружие и т. д. Каждый приезжал на своей машине, отдельно друг от друга. Добыть зверя можно только в те часы, когда он выходит на тропы. Тут нужно обладать сноровкой, навыками, знать зверя, его повадки и время выхода.

В Завидове, как и везде, есть специальные «кабаньи тропы». Есть места, куда кабан выходит на корм. Возле этих мест либо были подготовлены специальные «охотничьи площадки», либо стояли вышки. И вот, находясь на этой площадке, охотник терпеливо ждет кабана. В тот момент, когда Леонид Ильич выходил на охоту, не было, разумеется, егерей, стоявших за соснами; никто не подкидывал вверх глухарей или уток, чтобы Леонид Ильич их подстрелил. А у нас в газетах теперь пишут именно так. Можно спросить у любого егеря и он — я уверен — обязательно скажет, что это была самая настоящая спортивная

охота, что зверей в Завидове специально для Брежнева никто не разводил. А то, что зимой здесь подкармливали кабанов и оленей, приходивших из леса, так это были естественные кормушки без вольеров.

В общем, это был обычный субботний выезд руководителя страны на отдых. На территории хозяйства находился коттедж для гостей. Несколько хозяйственных построек. Здесь и начинались расчищенные от снега тропы, ведущие в чащу.

Надо сказать, что Леонид Ильич очень хорошо стрелял. Во всяком случае, лучше меня — это однозначно. Может быть, мне просто не везло, может быть, мне изменяло охотничье счастье, не знаю. В тот единственный раз, когда я охотился вместе с Леонидом Ильичом, он убил несколько кабанов. И Гречко с Подгорным тоже, по-моему, уехали с трофеями. С одного выстрела Леонид Ильич мог уложить не только кабана — я говорю об олене или лосе. И если он, не дай Бог, замечал, что кто-то из егерей «из гостеприимства» делает ему «подставку», он был недоволен. Все знали его характер. Со своими «услугами» просто так никто бы и не полез.

Ведь чем привлекательна охота? Прежде всего, это труд, это добыча зверя. Вот почему у Леонида Ильича всегда были очень уважительные отношения с егерями: он знал их поименно, и если случалось, что они обращались к нему с какими-то просьбами, он старался им помочь. Решал и квартирные вопросы. Не знаю, как егеря в Завидове относились, например, к Подгорному, но то, что между Леонидом Ильичом и ними не было каких-то барьеров — это факт. Никто не стоял по стойке «смирно», никто не кланялся в пояс, но и никаких общих застолий у них, как сейчас пишут, разумеется, не было.

Леонид Ильич уезжал из Завидова в воскресенье после обеда; когда же служебные дела позволяли ему задержаться здесь еще на несколько часов, то он возвращался и в понедельник. Охота всегда была для него разрядкой, но потраченные на отдых часы компенсировались работой.

* * *

Сейчас много пишут о коварстве Леонида Ильича Брежнева, о том, что он расправлялся с неугодными ему членами Политбюро так просто и быстро, что они, как говорится, не успевали даже глазом моргнуть. Одну из таких историй недавно поведал Петр Ефимович Шелест, бывший Первый секретарь ЦК КП Украины. Подгорный якобы ему рассказывал: «Я сижу на пленуме ЦК, Леня

рядом, все хорошо; вдруг выступает из Донецка секретарь обкома Качура и вносит предложение: считаю, что целесообразно совместить посты Генсека и Председателя Президиума Верховного Совета. Я обалдел. Спрашиваю: «Леня, что это такое?» Он говорит: «Сам не пойму, но, видать, народ так хочет, народ…»

Что я могу сказать? Не знаю, кто там «обалдел», кто нет, но такого человека, как Подгорный, можно было бы освободить и раньше; здесь Леонид Ильич, я считаю, проявлял излишнюю мягкость и терпел, как говорится, до последнего. Что же, Леонид Ильич был виноват, что с годами Подгорный стал совсем не тем Подгорным, которого Леонид Ильич знал и ценил когда-то? Думаю, что историки еще напишут как о Подгорном, так и о других «обиженных» Леонидом Ильичом — к ним, кстати, относится и Шелест. Если человек обижен, разве он может быть объективен?

Кроме того, мы почему-то не учитываем, что членов Политбюро освобождал не сам Леонид Ильич, это было решение Пленума ЦК КПСС. Многие из них освобождались в связи с их физическим состоянием. Все-таки это были не молодые люди.

Скажем, Андрей Павлович Кириленко просто не мог работать. Он ушел на пенсию после того, как болезнь, которой он страдал, дала тяжелое осложнение.

Также тяжело болел Кирилл Трофимович Мазуров. Он просто не мог выполнять свои служебные обязанности. Правда, через несколько лет после ухода на пенсию его здоровье восстановилось, и вполне естественно, что этот человек — с его опытом работы — возглавил Всесоюзный комитет ветеранов войны и труда, был избран народным депутатом СССР. Тяжело болел и Алексей Николаевич Косыгин.

К сожалению, и среди бывших членов Политбюро сегодня есть люди, которые исключительно из конъюнктурных соображений откровенно спекулируют своими отношениями с Леонидом Ильичом. «Брежневу я так и сказал: ты плохо кончишь», — гордо заявляет в своих интервью тот же Шелест. Вот как? Чем же сам Шелест, в таком случае, был лучше тех, кого он сегодня ругает? По-моему, если уж отвечать, то всем вместе. Так оно будет честнее.

Сейчас нас заставляют поверить, что при Леониде Ильиче заседания Политбюро были чистой формальностью и шли, в среднем, по 15–20 минут. К сожалению, об этом говорится и с высоких трибун. Мне, за редким исключением, не доводилось присутствовать в Кремле на заседаниях высшего политического органа страны. Государственные вопросы — и это знает каждый работник центрального аппарата — здесь быстро и наспех

никогда не решались.

* * *

А когда, скажем, разворачивались события в Афганистане, Леонид Ильич вообще провел несколько бессонных ночей. Это были непростые дни. Я понимаю: сейчас об Афганистане много написано, кажется, нет такой газеты, которая обошла бы вниманием эту тему; и, тем не менее, я не склонен думать, что широкие массы читателей, например, до конца знают те обстоятельства, которые предшествовали вводу в Афганистан ограниченного контингента войск Советской армии. Не все, я думаю, понимают, что же на самом деле представлял из себя Амин: а ведь была такая действительно зловещая фигура в первом демократическом правительстве Афганистана.

Амин являлся заместителем премьер-министра и министром внутренних дел республики с очень широкими полномочиями. Если мне не изменяет память, он сосредоточил в своих руках службы, эквивалентные — по нашим понятиям — МВД и КГБ. Амин получил прекрасное образование в Англии и был тогда же, как потом сообщалось в прессе, завербован английской военной разведкой. Это был наглый и самоуверенный тип, но с блестящими манерами и великолепно владеющий собой. Не только наглый, но и настойчивый. Вот такие выражения, я думаю, подойдут.

Что он хотел, спрашивается? Прежде всего, Амин добивался единоличной и сверхдержавной власти в Афганистане. Если бы Амина не удалось ликвидировать, он наверняка залил бы Афганистан кровью. Затрудняюсь сказать, какой бы там был установлен режим — фашистский, как в Германии, режим единоличной диктатуры, как у Пиночета, или что-то более страшное, но было бы очень плохо, я в этом уверен. Мы почему-то не пишем о том, что народ Афганистана не любил и не поддерживал Амина. Он сместил Тараки с помощью хорошо организованного дворцового переворота — все это произошло ночью: на стороне Амина оказались органы внутренних дел Афганистана (он ими командовал) и какая-то часть армии, особенно офицерский состав. Тараки был убит. А Москва ничего не знала.

Один раз и мне тоже пришлось встретиться с Амином. Была одна «незапланированная», как говорят дипломаты, встреча. Амин входил в состав партийно-правительственной делегации Афганистана, прибывшей с визитом в Москву. Ее возглавлял

Тараки, первый премьер-министр демократической республики, удивительно интеллигентный человек, философ и писатель (кстати говоря, Тараки пользовался большим уважением не только среди интеллигенции Афганистана, но и у простого народа). И вот визит в Москву.

Амин неожиданно изъявил желание встретиться с министром внутренних дел Щелоковым. Уже не помню, почему Щелоков не смог его принять, и сделать это было поручено мне. Перед началом встречи я знакомлюсь с холеным, сытым, по-европейски ухоженным человеком, держащимся достаточно свободно, если не сказать нагло. Речь пошла о выполнении советской стороной своих договорных обязательств по оснащению органов внутренних дел Афганистана боевой техникой и оружием. Выполняя данное мне поручение, я сразу сказал Амину, что Советский Союз в отношении поставок уже полностью выполнил договорные обязательства не только на этот, но и на будущий год. Надо сказать, что эти поставки были достаточно большими, причем часть их носила безвозмездный характер. Амин это, разумеется, знал, но, тем не менее, настаивал, чтобы наши поставки были бы еще больше увеличены, причем уже сейчас, включая не только вооружение, но даже одежду и продовольствие. В ответ я сказал: «Товарищ Амин, вы поймите, министерство внутренних дел строго выполняет решения, утвержденные Советом Министров СССР. В этом году мы уже не сможем ничего увеличить. Все позиции выполнены. Что же касается будущего года, то потом мы уже в рабочем порядке еще раз прикинем, какую помощь мы сможем выделить вам дополнительно».

Вдруг Амин вспыхнул и говорит: «Если не поможете вы, мы тогда купим у ФРГ». Тут я сорвался, спрашиваю: «А на какие, извините, деньги? У вас нет возможности заплатить нам за оружие, и только поэтому мы поставляем его безвозмездно». «Не ваше дело», — отвечает Амин.

Разговор становился резким. Амин не смог погасить свое неудовольствие, он все больше раздражался; потом резко перевел разговор на другую тему и заговорил об исторической дружбе двух наших народов. В ответ я напомнил ему, что Владимир Ильич Ленин в очень трудные для России годы все-таки нашел возможность (при нашей-то скудной казне) помогать Афганистану и даже, если мне не изменяет память, встречался в Москве с представителями афганского национально-освободительного движения. Я напомнил ему, что уже тогда мы были вынуждены затянуть свой ремень потуже, чтобы не оставить Афганистан в беде. «А сейчас, товарищ Амин, — добавил я, — вы

ведете себя, по-моему, бестактно; так, я считаю, вести себя не нужно». На этих тонах мы и расстались, хотя каждая сторона все-таки попыталась смягчить свое впечатление друг о друге.

Угроза Амина о военной помощи со стороны бундесвера мне надолго врезалась в память. Я незамедлительно рассказал обо всем Леониду Ильичу, ничего от него не скрывая. Другие товарищи тоже были предупреждены.

* * *

…Рабочий день Леонида Ильича обычно заканчивался в половине девятого, может быть — чуть раньше. От Кремля до дачи было 25 минут езды, он приезжал к программе «Время», которую обязательно смотрел; потом читал газеты, если не успевал проглядеть их утром, ужинал и шел отдыхать. По утрам за завтраком он читал «Правду», «Московскую правду», листал «Комсомолку», реже — «Советскую Россию». По вечерам читал «За рубежом», сатирические издания, какие-то публикации в «Крокодиле» весело комментировались и обсуждались.

Между дачей и Кремлем регулярно работала фельдсвязь — обычно какие-то важные деловые бумаги поступали к Леониду Ильичу на подпись именно вечером или рано утром. Если требовалось срочное решение, то они доставлялись прямо на дачу. Леонид Ильич не заставлял себя ждать и принимал решение немедленно. Иногда он с кем-то советовался, скажем — с Громыко или Андроповым, но обычно он всю ответственность брал на себя.

В жизни страны, и особенно за рубежом, случалось всякое. В таких ситуациях информация немедленно поступала к Леониду Ильичу, приходилось его будить иногда — хотя и редко — даже среди ночи. Да и так не было, пожалуй, вечера, чтобы Леонид Ильич, уже после ужина, не поговорил бы с кем-нибудь по «вертушке». Все члены Политбюро, министры, работники центрального аппарата знали, что Леонид Ильич обладал достаточной работоспособностью. Она понизилась только в последние годы.

Но на даче, конечно, он, прежде всего, отдыхал и много гулял, иногда один, иногда с кем-то из членов семьи; читал — на даче, как я уже упоминал, была хорошая и большая библиотека.

Очень он любил возиться с голубями. На даче у Леонида Ильича была своя голубятня. Голубь — это такая птица, которая прежде всего ценится за красивый полет. Среди охраны на даче был прапорщик, следивший за голубями, но Леонид Ильич сам

очень любил наблюдать голубей, их полет, кормил своих «любимчиков», знал их летные качества. Он был опытным голубятником. Эта страсть осталась в нем еще от жизни в Днепродзержинске; он как-то рассказывал мне, что его отец тоже был голубятником… Да чуть ли и не дед гонял голубей. Весь этот металлургический поселок держал высоколетных «сизарей». Часто Леонид Ильич сам проверял, все ли в порядке в голубятне, подобран ли корм, не мерзнут ли, если то зима, птицы.

Побыв немного с голубями, Леонид Ильич обычно заходил в вольер, где жили собаки. Это была еще одна его страсть. Собак он тоже любил, особенно немецких овчарок, относился к ним с неизменной симпатией и некоторых знал, как говорится, «в лицо», по кличкам.

В общем, середина 70-х годов — это было хорошее, интересное время, Леонид Ильич чувствовал себя хорошо, почти не болел, был очень добрым, мягким, разговорчивым человеком (если, конечно, на работе все было как надо и не возникали какие-то острые проблемы]. Он поддерживал хорошие контакты с товарищами военных лет, они приезжали к нему на дачу или на работу; а иногда он откликался на их приглашения — и тогда эти встречи переносились в Центральный Дом Советской армии. Но они были не только там. После таких встреч он приезжал очень поздно, в хорошем расположении духа, делился впечатлениями — я знаю об этих встречах с его слов. Я на них не был, да и делать мне там было нечего, у каждого, как говорится, свое место.

* * *

Не могу сказать, что Леонид Ильич был любителем художественных фильмов. Он, конечно, знал о них, но смотрел редко. А зарубежные ленты вообще, за редким исключением, не смотрел. Ему очень нравились «Семнадцать мгновений весны», фильмы военных лет и просто фильмы о войне. В целом же их тематика была весьма разнообразной, Леониду Ильичу всегда давали каталог фильмов, имевшихся в наличии, и он сам выбирал картины.

Я не помню, чтобы по вечерам к нему на дачу приезжали бы в гости деятели литературы и искусства. Все-таки он очень уставал на работе. Тем не менее, из разговоров с Леонидом Ильичом я делал вывод, что многих представителей литературы и искусства он знает и относится к ним с большим уважением. Ему нравились песни Пахмутовой и Добронравова, он с удовольствием слушал Кобзона, в какой-то мере — Лещенко, особенно его «День

Победы». Леониду Ильичу вообще очень нравились песни военно-патриотической тематики.

С большой симпатией он всегда говорил о Зыкиной, особенно о ее лирическом репертуаре. Ему было очень приятно, когда на одном из правительственных концертов, транслировавшемся по Центральному телевидению Людмила Георгиевна исполнила — в общем, конечно, прежде всего, для него — «Малую землю».

Ему нравилась София Ротару — и исполнением, и своей внешностью; Леонид Ильич был уже немолод, но, как и все мужчины, наверное, ценил женскую красоту. В основном он слушал песни по телевидению и радио; я что-то не припоминаю, чтобы он особенно увлекался грампластинками.

А вот рок-музыкантов Леонид Ильич не понимал и не любил. Говорил: «Бренчат там что-то, слушать нечего». Все-таки он был воспитан другой культурой. И упрекать в этом его не стоит. Роком больше «баловалась» молодежь, приезжавшая на дачу, Леонид Ильич относился к этому снисходительно — пусть, мол, слушают — и никому не мешают. Даже когда молодежь смотрела в кинозале зарубежные фильмы о рок-музыке, он относился к этому совершенно спокойно. Но если ему очень хотелось посмотреть какой-то нравившийся ему фильм, молодежь быстро покидала помещение кинозала, и он оставался там один или с кем-то из охраны.

Из молодых «звезд» эстрады Леонид Ильич выделял Пугачеву, а вот когда внуки «крутили» кассеты с песнями Высоцкого и голос гремел по всей даче, Леонид Ильич морщился; хотя его записи на даче были в большом количестве, они лежали даже в спальне. Мои ребята-водители постоянно «гоняли» эти пленки — куда бы мы ни ехали.

Леонид Ильич любил Геннадия Хазанова — я только не понимаю, зачем сегодня Геннадий Викторович Хазанов в своих выступлениях так неудачно, на мой взгляд, копирует Леонида Ильича и рассказывает (на эстраде) старые анекдоты про Брежнева, многие из которых, кстати говоря, Леониду Ильичу были известны. Они вызывали у него разве что добродушную улыбку. Все видели (по телевидению), что Хазанов принимал участие в торжественных правительственных концертах, где был и Леонид Ильич; его всегда очень хорошо и по-доброму принимали, никто его «не закрывал», никто ему не мешал.

Сейчас же, пользуясь тем, что изменилось время, этот любимый народом артист эстрады публично высмеивает какие-то недостатки Леонида Ильича и прежде всего — его специфическую речь. Спрашивается: нужно ли делать это достоянием многомиллионной аудитории? Мне кажется, это не совсем

этично. У каждого человека есть свои пороки и слабости. Ну, давайте теперь будем «полоскать» Леонида Ильича за то, что в последние годы жизни он тяжело ходил, часто болел…

Только сам Леонид Ильич скрывал свои болезни. Мне, кстати, хотелось поговорить на эту тему с Чазовым, но Евгений Иванович как-то очень искусно уходил от этих разговоров. У Леонида Ильича было два инфаркта: один — сразу после войны, второй — когда он работал в Молдавии или Казахстане; хотя именно сердце в последние годы его не подводило.

Не помню, выступал ли на этих концертах в Кремле Жванецкий. А вот Петросян принимал в них самое активное участие.

* * *

Тут надо сказать, что Леонид Ильич не устраивал в Кремле банкеты по случаю своего дня рождения. Это было единственный раз, когда ему исполнилось 70 лет. У себя дома мы этот праздник не отмечали, потому что Политбюро ЦК КПСС приняло решение отметить юбилей Леонида Ильича Брежнева торжественно, на определенном политическом уровне. Он проходил в Большом Кремлевском дворце.

Присутствовали все члены Политбюро и ЦК КПСС, секретари республик, обкомов и крайкомов. Были приглашены иностранные гости: Кадар, Хонеккер, Рауль Кастро, Цеденбал, но не было Чаушеску. Непосредственно за проведение вечера отвечал Андрей Павлович Кириленко. А вел его то ли Михаил Андреевич Суслов, то ли кто-то из старейшин.

Черненко, помню, сидел рядом с Леонидом Ильичей и Викторией Петровной, тут же, вокруг были все члены Политбюро. Из артистов выступали все, кого любил Леонид Ильич: Хазанов, Ротару, представители веселого жанра, пела Зыкина. Кстати говоря, Леонид Ильич всегда очень уважительно отзывался об актерах, хотя театры посещал нечасто — особым расположением у него пользовались Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Вячеслав Тихонов.

Или вот такой пример: Леонид Ильич знал наизусть много из «Василия Теркина» Твардовского и иногда, чтобы щегольнуть, он цитировал его в кругу своих домашних и друзей.

* * *

Субботними вечерами, в основном на отдыхе, он очень любил играть в домино с охраной. Вот эти игры просто сводили с ума Викторию Петровну, так как они обычно заканчивались где-то около трех часов ночи; и она, бедная, не спала, сидела рядом с Леонидом Ильичом и клевала носом.

Начальник охраны вел запись этих партий. Они садились за стол где-то после программы «Время» — и пошло! Игра шла «на интерес». Веселое настроение, шутки-прибаутки, но проигрывать Леонид Ильич не любил и, когда «карта» к нему не шла, то охрана, если говорить честно, старалась подыгрывать, а Леонид Ильич делал вид, что он не замечает.

Как-то раз и мне пришлось принять участие в игре. Не зная этого «расклада», не зная, что Леонид Ильич, игравший в паре с охранником, обычно выигрывал, я побеждал одну партию за другой. На этом все и кончилось — мне дали понять, что я нежелательная персона в такой игре.

Тут нужно понять правильно: Леонид Ильич всерьез увлекался игрой, и если что-то у него не получалось, если ему не везло, то он переживал, как ребенок. Больше я за игру не садился. У меня сразу пропала всякая охота. Между прочим, играющие и не думали подогревать себя спиртными напитками, как это бывает, если идет веселая и азартная игра. На столике было только пиво. Никаких рюмок, никакого коньяка, Леонид Ильич вообще предпочитал не коньяк, а водку, кроме того — «Зубровку» и «Беловежскую пущу», то есть самые обычные «земные» напитки. Но только если собирались лишь самые близкие товарищи.

* * *

Однажды, еще в 1986 году, в «Московской правде» (причем в двух или трех номерах подряд] появилась статья, до глубины души возмутившая всех родных и близких Леонида Ильича. По степени клеветы, возводившейся на покойного Генерального секретаря ЦК КПСС, она надолго опередила многие последующие публикации. Ее автор (не помню сейчас фамилию) подробно рассказывал, как Леонид Ильич Брежнев спаивал собственную охрану. В его пересказе это выглядело так: отправляясь по пятницам на уикэнд, Леонид Ильич торжественно сообщал охраннику, что у него в кармане «есть рубль», — он вынимал его и показывал; это означало, что Леонид Ильич предлагает охраннику и шоферу «сообразить на троих». Я еще помню, что автор статьи язвил по этому «поводу»: оказывается, Леонид Ильич, бесконечно далеко оторвавшийся от своего народа, не

знал, бедный, что водка теперь стоит не 2.87 и не 3.12, а где-то около десятки. Дальше: «Отрываемся от них!» — командовал Леонид Ильич своему шоферу, имея в виду машину охраны, следовавшую за его ЗИЛом. Они «отрывались», по пути на дачу заезжали в какой-то сельский магазин, стоявший у дороги, охранник бежал за водкой, потом их ЗИЛ сворачивал на лесную полянку, где охранник и шофер «тянули стакан за стаканом, а Леонид Ильич с вожделением смотрел им в рот, так как ему пить запрещали врачи и Виктория Петровна». В той же статье было написано, что эти сцены повторялись каждую неделю.

Что мы могли? Подать на автора в суд? Потребовать — уже официально, чтобы этот человек показал бы тех самых «охранников», которые стали «жертвой» пьяного разгула Генерального секретаря ЦК КПСС? У меня был разговор с Галиной Леонидовной на эту тему. Решили «не опускаться».

А статьи посыпались на нас, как град. Теперь я думаю — напрасно мы не отвечали. Надо было бы все-таки защитить честь близкого нам человека.

Что ж лучше, наверное, поздно, чем никогда. В связи с этой и рядом других статей, в которых еще встретятся, я уверен, аналогичные «подробности», позволю себе честно рассказать об одном эпизоде, который действительно был.

Как-то раз, в субботу, кто-то из моих и Галины Леонидовны друзей пригласил нас в «Арагви». Не помню, какой был повод, кажется, «круглая дата»; отказаться неприлично, нас там очень ждали, но суббота — это «родительский день». Как же быть? Посоветовавшись с друзьями, мы решили «перехитрить» Леонида Ильича. После обеда он обычно уходил отдохнуть. Обед всегда кончался где-то около трех часов, а спал Леонид Ильич до половины шестого-шести. Вот мы и решили: как только он пойдет отдохнуть, мы быстро «смотаемся» в «Арагви», чуть-чуть посидим с друзьями, засвидетельствовав им свое уважение, и так же быстро вернемся на дачу, благо это недалеко.

Сказано — сделано. Но праздник есть праздник, я все-таки выпил пару рюмок, а Леонид Ильич, видимо, это все понял. Или он видел, как отъезжала машина «Волга».

Хорошо, садимся ужинать. Вдруг Леонид Ильич обращается к домработнице: «Зина, будь добра, принеси бутылку «Зубровки» и фужер». Виктория Петровна вздрогнула. Я молчу. Зина приносит «Зубровку». Леонид Ильич наливает фужер: «Пей!» Я махнул. Закусили. Леонид Ильич наливает второй фужер: «Пей!» Я еще раз выпил. Тут он как стукнет кулаком по столу: «Ты что, если хочешь выпить, дома это не можешь сделать?» Вот так. Мораль проста: не светись на людях, не забывай, в какой семье ты

живешь!

И вот я читаю «Московскую правду». Несутся машины с Генеральным секретарем ЦК КПСС до сельмага! У меня возникает вопрос: а не больной ли человек писал эту статью? Кому нужна такая профанация?

* * *

В 1985–1987 годах хлынула целая лавина этих статей. Интересный все-таки народ — журналисты. Как попала «горячая» тема, так давай! Значит, теперь будем всех и вся полоскать. «Застойный период», «брежневщина».

Галина Леонидовна реагировала молча и гневно. Кому она могла писать? Когда все превращается в самую настоящую идеологическую кампанию, когда идет постоянный мощный «пресс», то кто же перед ним устоит? Одна — сломанная, больная женщина; другая — не может очнуться от потрясения, происшедшего с мужем, матерью, отцом. Ну о чем тут можно говорить?

Через своих товарищей, занимавших различные должности в партийном аппарате, я пробовал каким-то образом влиять на поток этих статей. Но все только разводили руками — время такое, ты же видишь, что делается! Возникает только один вопрос: а зачем? Ведь государство от этого крепче не становится. Обстановка в обществе не нормализуется. Наоборот, становится все хуже и хуже. Надо же быть хотя бы элементарно мыслящим человеком: на «негативе» невозможно построить новую государственную платформу, «негатив», искусственно созданный, будет так же искусственно подтачивать ее *изнутри.* Всегда!

Другая деталь: все подарки, которые в день 70-ле-тия Леонид Ильич получил от делегаций республик, обкомов, крайкомов и отдельных граждан, были переданы им в Управление делами ЦК КПСС. Незначительная часть этих подарков, наиболее ему понравившихся, осталась на даче: это были удачно сделанные охотничьи трофеи, декоративные панно — но Леонид Ильич обо всем этом, быстро забывал. Единственное, что он не передал в Управление делами ЦК, так это подарки, преподнесенные родственниками и близкими друзьями. Чтобы избежать пересудов, сразу скажу, что на 70-летие мы с Галиной Леонидовной подарили Леониду Ильичу хорошие золотые запонки.

Я думаю, что и Ставропольский край тоже не оставался в стороне, но что они дарили — не знаю, в общем-то, меня это мало

интересовало.

А вот сам Леонид Ильич очень любил дарить подарки — но как? У него, к примеру, была маленькая записная книжечка, в которую были внесены дни рождения всех членов его охраны. Кто ее писал, я не знаю, но такая книжечка была. По утрам, если только в этот день именинник по-прежнему нес службу, Леонид Ильич обязательно ему что-то дарил, какой-то скромный памятный подарок. Мне кажется, это лишний раз говорит о его человечности. И платил он за эти подарки не из государственной казны, а из своего кармана.

Он вообще за все платил сам. У Леонида Ильича не было, насколько мне известно, «открытого счета» в банке, как об этом — зачем? — пишут сегодня наши газеты. Не знаю даже, получал ли он маршальские деньги, по-моему, нет. А зарплата у Генерального секретаря была, надо признаться, меньше, чем у меня — с учетом моих погон и выслуги лет.

С какой суммы Леонид Ильич платил партийные взносы — не могу сказать. В шутку он мне не раз говорил, что я получал денег больше, чем он, Генеральный секретарь ЦК КПСС. Думаю, что своя доля правды в этой шутке была…

* * *

В моем понимании Леонид Ильич был человеком общительным. Он никому не запрещал бывать у него, и все это хорошо знали. Не могу сказать, что среди членов Политбюро у него были близкие друзья, все-таки он старался поддерживать ровные отношения, но, как я уже говорил, ближе всех к нему были Андропов, Устинов, Громыко и Черненко. Я никогда не спрашивал у этих людей, за что их ценил Леонид Ильич, но то, что ценил — было видно.

В «домашние» часы Леонид Ильич никогда не посвящал меня в свои дела. Зачем? У меня был свой участок работы. Все остальное — лишь праздное любопытство, неуместное в том случае, если речь идет о государственных делах. То есть я могу лишь косвенно судить о том, как они общались.

Разбирался ли Леонид Ильич в людях? Могу ответить утвердительно: да. Как посмотрит на тебя из-под густых бровей, так ему многое становилось ясно, и какие-то вопросы отпадали сами собой. Если человек обращался к Леониду Ильичу с какой-то разумной просьбой, и эта просьба казалась ему объективной, он помогал во что бы то ни стало. Но если же кто-то начинал приставать, то он всегда мог — достаточно твердо — поставить

этого человека на место.

Я уже говорил, что по отношению к семье это был очень добрый и мягкий человек — так вот, эти качества распространялись и на тех людей, которые окружали Леонида Ильича. Он никогда не подчеркивал свое служебное превосходство, которым — в среднем звене — так тупо кичатся некоторые наши чиновники. Не помню, чтобы за какой-то просчет или проступок он мог одним, как говорится, махом лишить «проштрафившегося» человека всего, что он имел, если же, конечно, это были не уголовно наказуемые действия. Вот почему я утверждаю, что главная черта характера Леонида Ильича — доброта и человеческое отношение к людям.

Думаю, что мне он доверял. У нас были хорошие отношения. От него я никогда и ничего не скрывал. Свои маленькие тайны есть, конечно, у каждого человека, но перед Леонидом Ильичом я всегда был, как на рентгене.

Не думаю, если говорить честно, что я имел какое-то влияние на Леонида Ильича, да такой цели у меня просто не было. Возвращаясь из служебных командировок — а я обычно был в командировках по стране почти сто дней в году, — я всегда делился своими впечатлениями от этих поездок и рассказывал Леониду Ильичу все как есть. Я чувствовал, что он, скажем, не все знает по Сургуту или по Нижневартовску, где я был. Не знаю, как сейчас, а в те годы там очень остро стояла проблема жилья; кроме того, была проблема с приобретением мебели. Леонид Ильич слушал с очень большим интересом. Когда я возвращался, всегда был вопрос: «Ну, как съездил?» И если я не рассказывал, то вопросы на этом прерывались. Все-таки он очень уставал на работе.

Знал ли Леонид Ильич об истинном положении дел в стране, скажем, с продовольствием? В полном объеме — не знал. Я могу ответить однозначно. По крайней мере, та информация, которой я делился по возвращении из командировок, была для него совершенно неожиданной. В первую очередь, я имею в виду вопросы продовольственного снабжения страны.

Как-то раз он позвонил мне на работу и попросил подготовить справку о ценах на московских рынках, причем не на одном, Центральном, а на двух-трех (московское Главное управление внутренних дел тогда быстро подготовило такой материал). Его, между прочим, вполне мог бы дать и горком партии, но Леонид Ильич обратился ко мне. Может быть, в какой-то степени он не доверял горкому, знал, что там могут «пригладить» информацию. Я же говорил все как есть, ничего не боясь, потому что я знал, кто будет работать с этим материалом.

Но такие звонки были большой редкостью.

И то, что Леонид Ильич, как пишет пресса, надевал на меня погоны и увешивал медалями, — ну, я скажу так: если бы Чурбанов был круглым дураком, вряд ли Генеральный секретарь нацепил бы на него генеральские аксельбанты. Единственный упрек, который я выслушивал со стороны Леонида Ильича и жены на протяжении многих лет, это то, что я всего себя отдаю работе. Я очень редко вовремя приезжал домой. Рабочий день у меня начинался в 7.20 утра, возвращался уже после программы «Время», обычно я мельком смотрел ее на работе, там же, на работе, и ужинал. То есть это было не раньше 22 часов. Леонид Ильич как-то всерьез сказал мне: «Ты все работаешь, так нельзя, руководитель должен больше доверять своим подчиненным и не делать все сам — а ты лучше найди время, чтобы заняться семьей!» К его советам я всегда прислушивался.

* * *

Не могу сказать, то Леонид Ильич любил приглашать к себе на дачу гостей. Генеральный секретарь ЦК КПСС вел достаточно уединенный образ жизни. Но когда надо было посоветоваться, он обычно приглашал на дачу не одного человека, а группу людей: поужинать. Но что это был за ужин? Шел обычный деловой разговор, решались какие-то вопросы, все родственники сразу уходили из-за стола, чтобы не мешать, в том числе, и Виктория Петровна. Все, без исключения. Леонид Ильич был очень щепетильным человеком в эти вопросах.

Рой Медведев написал, что моя жена имела орден Ленина (и еще много, что написал — что я был «подполковником ГАИ», родился в Подмосковье — все это не соответствует действительности]. Да отец бы ей просто голову оторвал за такие награды. Какой орден Ленина?

Она даже в КПСС никогда не состояла. Еще когда Галина Леонидовна работала редактором в Агентстве печати «Новости», у нее как-то раз была попытка на этот счет, но Леонид Ильич тут же запретил ей даже думать об этом и сказал: «Хватит того, что у тебя отец Генеральный секретарь, я в партии и без тебя разберусь, что к чему».

Не исключаю, что когда-нибудь появится статья, в которой будет написано, что и Виктория Петровна тайно награждалась какими-то орденами. А она-то всего-навсего простая домохозяйка, а еще раньше, в годы молодости, была акушеркой-медсестрой.

По выходным дням на дачу к Леониду Ильичу приезжали —

если он приглашал — только Андрей Андреевич Громыко с женой, Дмитрий Федорович Устинов, он всегда был один, и Юрий Владимирович Андропов. Не помню, чтобы приезжал Алексей Николаевич Косыгин, хотя у него с Леонидом Ильичом были достаточно хорошие отношения. Иногда на даче бывали Цвигун и Цинёв, они оба являлись первыми заместителями Председателя КГБ СССР, это была старая дружба; Цвигун и Цинёв пользовались особым расположением Леонида Ильича, хотя я не думаю, точнее — просто исключаю, что за спиной Андропова эти люди контролировали его деятельность в КГБ. Юрий Владимирович был достаточно сильным человеком, он обо всем докладывал Леониду Ильичу сам, ничего от него не скрывая, так что Леонид Ильич был в курсе всех дел КГБ. Так же, как и МВД, хотя Щелоков (на моей памяти) был на даче всего один раз.

Не знаю, почему у Андропова в КГБ было два первых заместителя, носивших звание генерала армии, а у Щелокова был только один я. Цинёв являлся настоящим профессионалом — в КГБ даже те люди, которые приходили сюда с партийной или дипломатической работы, из Министерства обороны, быстро становились хорошими специалистами своего дела.

К таким же профессионалам относился и Цвигун. Спокойный по характеру, очень общительный, интересный собеседник. Этот человек вел в КГБ самые важные участки работы. В начале 80-х годов он неожиданно покончил с собой. О причинах смерти можно только догадываться, но мне кажется, что они были самыми прозаическими (Цвигун жил без одного легкого). Но в том случае, если речь шла о служебных делах, то, как первый заместитель, Цвигун не имел права «напрямую», как у нас говорили, выходить на Генерального секретаря ЦК КПСС. Докладывал только Андропов. И Леонид Ильич знал все.

Я уж не говорю о Министерстве обороны. Здесь он тоже все знал. Кто-то из заведующих отделами или секретарей ЦК появлялся на даче лишь в том случае, если это было действительно нужно.

* * *

Как правило, гости Леонида Ильича собирались к ужину. Если Леонид Ильич хорошо себя чувствовал, он всегда сам встречал гостей и вообще вел себя не как Генеральный секретарь ЦК КПСС, а как радушный и добрый хозяин.

Виктория Петровна знала толк в кулинарии, всегда подсказывала повару, как получше приготовить то или иное

блюдо, хотя Леонид Ильич предпочитал самую обыкновенную еду. В обед — это борщ, реже суп, всякие пудинги или каши, особенно рисовая, которую он очень любил. По утрам — омлет и чашка кофе с молоком, иногда творог, вот и весь завтрак. Особой симпатией у него пользовался свой собственный, его руками добытый кабан. Тут же, за столом, всегда были разговоры, как он его убивал, как он к нему подкрадывался, какого веса был этот кабан.

Леонид Ильич никогда не звал людей просто так. Помню, как-то раз они с Андреем Андреевичем Громыко обсуждали вопрос о выезде из СССР. Тогда Леонид Ильич достаточно резко сказал: «Если кому-то не нравится жить в нашей стране, то пусть они живут там, где им хорошо». Он был против того, чтобы этим людям чинили какие-то особые препятствия. Юрий Владимирович, кажется, придерживался другой точки зрения по этому вопросу, но ведь многих людей не выпускали из-за «режимных соображений», это было вполне естественно. Сейчас тоже выпускают не всех.

Не помню, чтобы в разговорах Леонида Ильича возникало имя Солженицына, — кажется, нет, ни в положительном, ни в отрицательном аспекте. Может быть, Щелоков что-то докладывал Леониду Ильичу о решении Вишневской и Ростроповича, с которыми был дружен, но Леонид Ильич в эти вопросы не вмешивался. Все-таки это была прерогатива Юрия Владимировича Андропова.

А вот об Андрее Дмитриевиче Сахарове разговоры были. Леонид Ильич относился к Сахарову не самым благожелательным образом, не разделял, естественно, его взгляды, но он выступал против исключения Сахарова из Академии наук. Суслов настаивал, причем резко, а Леонид Ильич не разрешал и всегда говорил, что Сахаров — большой ученый и настоящий академик. Какую позицию в этом вопросе занимал Юрий Владимирович, я не знаю, все-таки это были вопросы не для домашнего обсуждения. Одно могу сказать твердо: письмо Сахарова к Брежневу в домашнем кругу никак не комментировалось. Может быть, оно просто не дошло до Леонида Ильича? Трудно сказать.

Но никаких разговоров вокруг этого письма не было, и в доме о Сахарове не говорили.

* * *

Леонид Ильич с большим уважением относился к Вооруженным силам СССР. Он хорошо знал структуру

Вооруженных сил, бывал на военных учениях (хотя и не всегда об этом сообщалось в печати), с большой симпатией относился к морякам Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Отдыхая под Ялтой, Леонид Ильич несколько раз ездил в Севастополь на праздники Военно-морского флота, бывал на боевых кораблях, встречался с моряками, обедал с командным составом.

Помню, однажды был обед в Севастополе. На море немного штормило, поэтому начальник охраны, отвечавший за личную безопасность Леонида Ильича, не рекомендовал ему посещать военный корабль, стоявший на рейде. Тогда праздничный обед был перенесен в один тесный городской ресторан — в Севастополе, по-моему, нет больших ресторанов; а может быть, его выбрали по каким-то другим соображениям — неважно. Сели за стол. А было очень жарко. И вдруг Леонид Ильич обратился к первому секретарю Севастопольского горкома партии — попросил принести мороженое. Тот, бедный, растерялся, но начальник охраны тут же послал кого-то в город, принесли мороженое, и Леонид Ильич очень его хвалил. В тот же день мы посмотрели диораму обороны Севастополя, Леонид Ильич много рассказывал о Малой земле; в общем, от посещения города осталось много интересных впечатлений. Он очень любил Севастополь.

Леонид Ильич очень уважительно относился к маршалу Андрею Антоновичу Гречко. Обязательно прислушивался к его советам. Смерть Гречко, внезапно скончавшегося на своей даче, потрясла его. Но, теряя верных друзей и соратников, Леонид Ильич — и это черта его характера — быстро брал себя в руки.

С самой доброй стороны вспоминал он и Георгия Константиновича Жукова. Сейчас пишут о расхождениях, существовавших между Леонидом Ильичом и маршалом Жуковым, это не совсем точно; речь идет не о расхождениях, а о несовпадении двух достаточно сложных характеров: властного и крутого характера «истинного автора войны», как называют сегодня Георгия Константиновича, и Генерального секретаря ЦК КПСС. Но я и в самом деле не помню, чтобы они встречались, хотя у Леонида Ильича бывали встречи с крупными военачальниками прежних лет.

Я это знаю вот почему: как-то раз группа генералов и офицеров МВД СССР, которую я возглавлял, навестила маршала Василия Ивановича Чуйкова — в день его 75-летия. Он жил в Москве, на улице Грановского. Мы прибыли днем, от имени министерства подарили Василию Ивановичу скульптуру коня высокохудожественного каслинского литья — это был «спецзаказ» МВД; таких коней (в подобном исполнении) я больше никогда не

видел. Василий Иванович был в хорошем настроении, растрогался: откуда же МВД еще и коня взяло? А я отвечал: «Если МВД захочет, так оно вам и шашку подарит, с которой вы воевали во время Гражданской войны». Добрый был старик. Так вот, в тот день он очень тепло вспоминал о своих встречах с Леонидом Ильичом. Оказывается, они время от времени виделись.

Но — пусть читатель не истолкует это превратно — Леонид Ильич хорошо знал не только ветеранов. Он был лично знаком почти со всеми командующими округами и флотами. Эти люди входили к нему в кабинет по любому вопросу. Леонид Ильич очень ценил генерала армии Алексея Алексеевича Епишева — он знал его еще по фронтовым дорогам. Однако — вот тоже характерная деталь — Епишев так и умер генералом армии, но не маршалом, хотя он, пользуясь старой дружбой с Леонидом Ильичом, делал, кажется, соответствующие намеки и просьбы.

Щелоков, кстати говоря, тоже довольно долго не имел звания генерала армии, хотя и обращался по этому вопросу лично к Леониду Ильичу. А на «маршала» Щелоков даже и не замахивался. Леонид Ильич всегда держал его на определенной дистанции. Генерал армии? Еще рано. А что значит «рано»? Да просто по делам твоим — не положено.

Леонид Ильич всегда во всем был верен себе. Кстати говоря, когда после ухода из жизни Андрея Антоновича Гречко министром обороны СССР стал Дмитрий Федорович Устинов, это многих шокировало. Устинов не военачальник. Он был крупным организатором оборонной промышленности. Как же так, рассуждали некоторые, не военный человек вдруг возглавил военное ведомство? Между тем, это была идея Леонида Ильича. И жизнь показала, что Леонид Ильич сделал правильный выбор. Слава богу, что сейчас в адрес Дмитрия Федоровича стрелы не летят, что он не испытал на себе — уже посмертно, разумеется, — что такое уличная брань.

* * *

… Леонид Ильич вообще не признавал праздники — только свой день рождения. А так — уезжал на отдых в Завидово. Он вообще не терпел всех этих застолий. Застолья его очень утомляли. Если его гости задерживались, то он прямо, хотя и в полушутливой форме говорил: «Все, товарищи, пора заканчивать». В этом смысле он был ровен со всеми, ни для кого не делал исключений, в том числе — и для членов Политбюро. Гости разъезжались очень рано, сразу после десяти вечера. Свой

режим Леонид Ильич старался не нарушать.

По долгу службы я несколько раз бывал на ноябрьских парадах, чаще один; с Галиной Леонидовной — всего два или три раза. Разумеется, мы никогда не стояли на трибуне Мавзолея, у нас были свои места на гостевых трибунах, там, где находились руководящие работники Министерства внутренних дел, КГБ, Верховного суда, Прокуратуры и первые секретари райкомов партии Москвы.

Официальные приемы в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции всегда проходили в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов. Появлялся Леонид Ильич с членами Политбюро, Леонид Ильич подходил к микрофону и произносил речь. Протокольная часть вечера длилась где-то час десять — час пятнадцать, потом Леонид Ильич и члены Политбюро уходили, народ немножко расслаблялся; а на столах всегда стояли коньяк, водка, шампанское, но пьяных, разумеется, не было, упаси бог — только две-три рюмки для праздничного настроения. Потом давался небольшой концерт и все разъезжались.

Леонид Ильич имел два рабочих кабинета. Один находился в Кремле, в здании Совета Министров СССР, другой — в ЦК КПСС. То есть Леонид Ильич работал и в Кремле, и в ЦК (хотя в последнее время уже только в Кремле); все зависело от того, какие в этот момент решались проблемы. Если это были вопросы, связанные с деятельностью партии, он работал в ЦК; там находились все необходимые бумаги, и аппарат сотрудников его канцелярии был подобран таким образом, чтобы эти люди в работе не дублировали друг друга. Если — государства, то в Кремле. Там же и велись все переговоры.

Леонид Ильич был очень аккуратен с бумагами, они ложились к нему на подпись только по вечерам, тут был строгий порядок, который не нарушался. С бумагами Леонид Ильич всегда обращался очень педантично. На рабочем столе ничего лишнего — только все необходимые «атрибуты» — телефоны, большие часы, пепельница, рядом сигареты. Он всегда курил «Красную Пресню» или «Новость» (и не какие-то специально изготовленные, а в обычном исполнении, через мундштук). Леонид Ильич смеялся над молодежью, если мы, допустим, курили заморские сигареты; он иронично к ним относился, говорил: «От них не накуришься», для него они были просто слабенькими. Леонид Ильич курил очень много, несколько раз бросал, потом начинал снова и в последние годы выкуривал по полторы-две пачки в день. Случалось — натощак, перед завтраком; Виктория Петровна пыталась бороться, но это было

бесполезно — здесь она терпела сокрушительное поражение; ее вежливо просили не говорить на эту тему и не вмешиваться.

А если двух пачек не хватало, Леонид Ильич иногда занимал у охранника. У каждого члена охраны (даже некурящего) обязательно была пачка сигарет для Леонида Ильича. Иногда он забывал свои сигареты на даче, и если в машине хотелось покурить, то приходилось обращаться к кому-то из сопровождающих.

Не останавливаться же у того сельмага, о котором писала «Московская правда», и стрелять у прохожих! Когда Леонид Ильич умер, на тумбочке у кровати так и остались сигареты с зажигалкой…

Так вот, сигареты всегда лежали на его рабочем столе и в комнате отдыха. На приставном столике обязательно стояли бутылки с водой. Не знаю, проводились ли в этом кабинете заседания Политбюро — думаю, что нет, хотя сам кабинет был достаточно просторный и большой. А комната отдыха находилась сзади.

В приемной всегда дежурили технический секретарь и кто-то из сотрудников охраны. Секретарь работал круглые сутки. Не знаю, сколько людей Леонид Ильич мог принять в день, мы с ним на эту ему не разговаривали; но он очень любил разговоры с людьми, нуждался в них, видя в самих людях лучший источник информации. Все было достаточно демократично. Разумеется, когда посетители входили к Леониду Ильичу, их никто не обыскивал, они могли взять с собой что угодно, любой портфель, то есть — надо правильно понять — охранник в приемной был просто на всякий случай, так сказать, хотя никогда ничего не случалось. Леонид Ильич пользовался отдельным подъездом — вот, пожалуй, единственная «привилегия», которая у него в этом смысле действительно была.

Вообще люди входили к нему запросто. Тот же Савинкин, например, бывал у Леонида Ильича по любому вопросу, представляющему интерес для Генерального секретаря ЦК КПСС. И не только он. Леонид Ильич хорошо знал многих работников своего аппарата и ценил их труд. Люди работали с ним годами. Не думаю, что его непосредственные помощники испытывали какой-то страх перед Леонидом Ильичом. Он создал вокруг себя такую обстановку, что они имели право быть у него в любое время, когда этого требовали конкретные дела и участки работы, за которые они отвечали. Я допускаю мысль, что в последние годы, когда Леонид Ильич (периодами) уже тяжело болел, кто-то из помощников, чтобы не огорчать Леонида Ильича, брал — от его имени — на себя решение каких-то вопросов. Может быть, не

обо всем и докладывали. Но если это и было, то лишь в последние годы.

Среди его помощников не было человека, которого Леонид Ильич выделял бы как-то особенно. За определенные «проколы» и просчеты доставалось всем поровну. Говорят, что в окружении Брежнева был особенно влиятелен Александров. Не думаю, что это так, хотя он — опытный аппаратчик, культурный и образованный человек с хорошей служебной «хваткой» (в лучшем смысле этого слова), собственными мерками и подходом к работе. Леонид Ильич с симпатией относился к своему помощнику Голикову, занимавшемуся вопросами сельского хозяйства: он всегда давал Леониду Ильичу полную и объективную информацию (вот отсюда, я думаю, и были эти симпатии). Вопросами подготовки Секретариатов ЦК занимался Цуканов; Леонид Ильич работал с ним еще в Днепропетровске. Из «международников», кроме Александрова, мне запомнился Блатов, настоящий специалист своего дела. Но штат помощников Леонида Ильича был, в общем-то, невелик.

Что же касается Бровина, бывшего секретаря Леонида Ильича, который сидит в той же колонии что и я, за взятки, то ведь это был обычный технический секретарь — заурядный человек, занимавшийся только тем, что в приемной снимал трубки телефонов. Сейчас пишут, что этот самый Бровин имел колоссальное влияние на Леонида Ильича и определял у нас чуть ли не всю международную политику.

И опять я — уже в который раз! — не перестаю удивляться: что же у нас творится-то, люди добрые?! Ну, не ему же определять международную политику! Технический секретарь — это есть секретарь технический, не больше. Так зачем же, спрашивается, приписывать человеку то, чем он не был наделен?!

Могу засвидетельствовать, что Леонид Ильич с большой симпатией относился к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он знал его как молодого, энергичного и очень умного секретаря партийной организации крупного сельскохозяйственного края. Назначение Горбачева на должность секретаря ЦК КПСС ни у кого из членов Политбюро не вызвало никаких сомнений. Правда, Леонид Ильич, который все-таки был очень щепетилен в этих вопросах, спрашивал у Суслова и Черненко: «А не ошибемся ли мы?» Они настаивали. Да и сам Леонид Ильич очень неплохо отзывался о Горбачеве и говорил так: «В ЦК должны быть и молодые кадры». В конце жизни эта проблема волновала его особенно.

В Ставропольском крае у Горбачева было особенно хорошо развито сельское хозяйство. Вполне естественно, что после

смерти члена Политбюро Федора Давыдовича Кулакова, занимавшегося в ЦК КПСС сельским хозяйством, этот важнейший участок работы был поручен именно Горбачеву. Я не помню, чтобы Михаил Сергеевич посещал Генерального секретаря ЦК КПСС в домашней обстановке. Но то, что они достаточно плотно общались, вместе решая важные продовольственные вопросы, — это факт. Кстати, и Юрий Владимирович Андропов высоко ценил Горбачева.

Сейчас часто встречаются утверждения, что партийная бюрократия, «засевшая» и в аппарате Центрального Комитета КПСС, «пожирала», не давала ход даже тому разумному, что непосредственно исходило от Политбюро и Генерального секретаря ЦК КПСС. Говорится так: тогда, мол, принимались хорошие и правильные решения, но проклятые чиновники тормозили их как могли. Как наиболее яркий пример обычно приводится срыв тех экономических реформ, на которых настаивал Алексей Николаевич Косыгин, работавший Председателем Совета Министров СССР.

Так это или не так? И вообще, что же такое наша бюрократия? Что есть бюрократический аппарат? На мой взгляд — это, прежде всего, дисциплинированная публика. Так мне кажется. Бюрократ — это исполнительный человек. Что же плохого, если работник действует строго в соответствии с законами и служебными инструкциями? Мы так ненавидим инструкции, так иронично иной раз к ним относимся… А ведь их разрабатывали разумные люди, вкладывая в них все свои знания и опыт. Если бы мы всегда давали себе труд если уж не выполнять инструкции от «а» до «я», то хотя бы советоваться с ними, у нас было бы больше порядка и меньше ошибок, ведущих к непредсказуемым последствиям. Это — во-первых.

А во-вторых, у Леонида Ильича в аппарате ЦК был колоссальный авторитет и не выполнить его поручение было невозможно. За годы, конечно, случалось разное, особенно — в вопросах кадровой политики. Бывало и так: где-то в недрах аппарата ЦК «рождалась» одна кандидатура на какую-то конкретную должность и в этот момент выяснялось, что у Леонида Ильича уже есть своя, другая кандидатура. Что происходило дальше? В результате полезного конфликта на альтернативной основе проходила та кандидатура, которую предлагал Леонид Ильич. Даже из этого примера видно, что он держал этот «бюрократический аппарат» в руках и твердо управлял им.

Да и могло ли быть иначе? Ведь Леонид Ильич сам прошел школу партийного аппарата. Тем острее были его переживания,

если в работе ЦК происходили сбои, если принимались какие-то ошибочные решения, если случалось ЧП.

Я помню, как тяжело переживал Леонид Ильич гибель руководителя Белоруссии Петра Мироновича Машерова. Это был замечательный, очень умный человек, я бы сказал — любимец белорусского народа и партии.

Машеров попал в чудовищно нелепую автокатастрофу. В МВД СССР об этом узнали незамедлительно, уже через несколько минут: о таких вещах дежурный по министерству всегда докладывает в срочном порядке. Мы тут же сообщили в ЦК КПСС, Щелоков позвонил Леониду Ильичу. В Минск срочно вылетел начальник Главного управления ГАИ генерал Лукьянов. Там уже работала большая следственная группа Прокуратуры и КГБ Белоруссии. О результатах расследования было так же незамедлительно доложено.

Выяснилось, что большая часть вины ложится на водителя Машерова. Если не ошибаюсь, это была пятница, во второй половине дня Петр Миронович неожиданно решил посмотреть сельскохозяйственные поля, но его основная машина (членам Политбюро полагался, как известно, ЗИЛ] находилась в ремонте. По существующей инструкции начальник охраны не имел права выпустить его на трассу, но Машеров настаивал, и тогда ЗИЛ заменил на «Чайку». Это — более легкая машина, и при лобовом столкновении — а именно так произошло — она была не в состоянии выдержать тот удар, который «по силам» ЗИЛу.

Была и другая причина: минувшей ночью у водителя Машерова, уже пожилого человека, случился приступ радикулита. А как мы об этом узнали? При осмотре трупа шофера все увидели, что прежде чем сесть в машину, он обвязал себя теплым шерстяным платком. Но утром он никому об этом не сказал, сел за руль «Чайки»; и хотя ширина трассы и отличная видимость позволили бы здоровому человеку, находящемуся за рулем, сделать любой маневр, но радикулит, видимо, дал о себе знать. «Чайка» столкнулась не с трактором, как писали в газетах, а со встречной грузовой машиной, на скорости обгонявшей колонну других машин, — ее водитель возвращался из дальнего рейса, провел без отдыха много часов за рулем и потерял, естественно, должную реакцию. Водитель и охранник Машерова погибли мгновенно, а сам Петр Миронович жил буквально несколько минут, и спасти его от смерти было уже невозможно.

Много пересудов и даже сплетен вызвал тот факт, что на похороны Машерова из Москвы приехал только секретарь ЦК КПСС Иван Васильевич Капитонов. Спрашивается: что из этого следует? Ведь прежде чем говорить, надо, наверное, хотя бы знать

предмет, а не давать, как это происходит сейчас, волю эмоциям и догадкам. Кто кого должен хоронить? В таких случаях принимается решение Секретариата ЦК.

Ну, хорошо, а почему на поминках Леонида Ильича тоже был только Капитонов? Это как объяснить? Неуважением к памяти покойного Генерального секретаря ЦК КПСС со стороны его товарищей по Политбюро и лично Юрия Владимировича Андропова? Конечно, нет. Тогда как?

Наши газеты сейчас договорились до того, что и Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт Земли, не погиб, оказывается, в авиакатастрофе, а был помещен в «подпольную» психиатрическую лечебницу, после того как на одном из приемов в Кремле выступил против Советской власти. У меня возникает только один вопрос: и что же, газета должна нести ответственность за свои слова? Наверное, надо отвечать. Больше мне сказать нечего.

Свобода печати — это не значит свободное вранье!

* * *

Леонид Ильич был очень живым и эмоциональным человеком. Он действительно переживал как, может быть, никто другой, когда уходили из жизни его соратники, когда в государстве не все ладилось или если между народом и властью возникали какие-то конфликты.

Особенно — на национальной основе.

А они были. Разумеется, ни о каких национальных «войнах», как это происходит сейчас между Азербайджаном и Арменией, тогда и речи быть не могло, этого просто никто бы не допустил, но локальные конфликты — случались. Один из нихпроизошел в 1979 **(автор ошибается. Беспорядки произошли в октябре 1981 г.** — Прим, ред.) году в Орджоникидзе. Это был то ли конец сентября, то ли было начало октября — во втором часу ночи мне на дачу позвонил Михаил Сергеевич Соломенцев, работавший тогда Председателем Совета Министров РСФСР. Он поинтересовался, где сейчас может быть министр Щелоков или другие его «замы», и сказал, что все телефоны у них отключены.

В этот момент я еще не был первым заместителем министра, а занимался кадрами. Соломенцев сказал, что в Орджоникидзе возникли массовые беспорядки, нужно срочно вылетать, поэтому он ждет меня в аэропорту «Внуково-2». Время было ограничено, я быстро собрался — да и собираться, в общем-то, было нечего: «дипломат», пара чистых рубашек, спортивный костюм и

бритвенный прибор. Вот так я всегда и ездил.

Едва рассвело, мы уже были в Орджоникидзе, прямо с аэродрома поехали в обком партии, познакомились с обстановкой. Нам доложили, что волнения произошли после убийства водителя такси, я даже помню его фамилию — Гаглоев, то ли осетина, то ли ингуша, — то есть на национальной почве. Этим убийством воспользовались антисоветские силы и преступные элементы, которые преподнесли его политически.

Что они хотели? Часть толпы, собравшейся у здания обкома партии, требовала немедленной отставки первого секретаря обкома Кабалоева. Честно говоря, я бы и без этой толпы снял его с работы, так как и раньше был наслышан от министра внутренних дел республики о том, как ведет себя этот человек, о его высокомерном, чванливом отношении к людям и, в частности, к сотрудникам органов. Но все это, конечно, было подчинено национальной вражде между живущими здесь осетинами и ингушами. О русском населении, по крайней мере, в то время, не было и речи.

Рано утром мы вышли на площадь. Нас встретила толпа в четыре-пять тысяч человек. Было интересно, как она построена: у самого здания, перед памятником Ленину, стоял гроб с телом Гаглоева, за ним рядами стояли сначала молодые парни, девушки, потом женщины, за ними мужчины и в последних рядах — старики. В общем, вся площадь была запружена народом. Наши призывы к людям разойтись, разумным путем решить все наболевшие вопросы успеха не имели.

Толпа вела себя очень агрессивно, и хотя огнестрельного оружия у них почти не было, только охотничьи «стволы», в ход шли камни и арматурные прутья.

Позже, когда мы получили (для подкрепления) бронетранспортеры, у них в руках появились и бутылки с зажигательной смесью. А какие силы были у нас? Высшее командное училище внутренних войск, находившееся в Орджоникидзе, было целиком задействовано на уборке кукурузы. Значит, мы могли рассчитывать только на гарнизон милиции и курсантов одного или двух училищ Министерства обороны, хотя они (до определенного времени) вообще никакого участия в работе не принимали.

Толпа, стоявшая на площади, не расходилась, наоборот: через определенное время, как по секундомеру, одна часть людей уходила, а другая — ее сменяла; масса народа оказалась на крышах, в окнах, крики, шум, много пьяных, наркоманов — все это накаляло обстановку. Но никто из нас и не думал давать команду «В ружье!» Тем более применять спецсредства и все

остальное.

В течение пяти суток здесь велась кропотливая разъяснительная работа. По предложению Соломен-цева мы провели очень полезную встречу с уважаемыми людьми города и республики. Кроме того, были встречи со студентами в университете, институтах и профтехучилищах. Мы пошли к людям на фабрики и заводы. Но толпа, собравшаяся на площади, еще стояла. Выходил Соломенцев, выходил первый заместитель Генерального прокурора СССР Баженов — никакого результата. После них к людям вышел я и, уважая народ этой республики, немного зная их обычаи и нравы, я прежде всего снял свой головной убор перед гробом убитого таксиста Гаглоева. Толпа затихла.

Но мне дали говорить от силы две-три минуты. Послышались выкрики, в мою сторону полетели камни, куски брусчатки, которой была выложена площадь. Пришлось уйти. А толпа осталась. Вечерами на площади пылали костры, ломали киоски, садовые скамейки — люди грелись у костров, но не расходились.

Соломенцев обратился в ЦК КПСС с просьбой о введении комендантского часа. Мы тут же получили категорический отказ. Нам сказали: ни в коем случае. В этот момент на пленуме обкома был избран другой руководитель республиканской партийной организации. Я запомнил такую деталь: выступает женщина, звеньевая одного из совхозов и обращается к бывшему первому секретарю обкома Кабалоеву: «Я, — говорит, — 17 лет работаю в совхозе, так вот вы за 17 лет у нас ни разу не удосужились побывать, хотя совхоз находится рядом с городом».

Как же, спрашивается, этот Кабалоев столько лет держался на своем посту? Не знаю. А вот держался. Бывало и такое. К чести Соломенцева (о бывших членах Политбюро сейчас не принято говорить хорошо], могу сказать, что он вел себя хладнокровно, выходил один к толпе, без охраны — как и все мы: ни у меня, ни у него, ни у других товарищей в этот момент не было в карманах даже пистолетов, нам это было строжайше запрещено. Да и что такое пистолет против толпы? Только лишний раздражитель, не более того.

Нам все время повторяли из ЦК КПСС — только беседы, только встречи с людьми, удовлетворение их просьб, требований. Телефонная связь работала круглосуточно. Среди местных жителей не было ни одного убитого, ни одного огнестрельного ранения, тогда как среди солдат, стоявших в оцеплении, пострадавшие были. На моих глазах курсантику училища арматурным прутом переломили руку и она повисла на плече как плеть. Другому парню таким же прутом выбили глаз. Зрелище

было неприятное.

Только после этого силы, стоявшие в оцеплении, стали защищаться и наступать, тесня толпу и выдергивая зачинщиков. У нас была «Черемуха», но до самого последнего момента этот нервнопаралитический газ в Орджоникидзе не применялся; с ним вообще надо обращаться очень осторожно, ибо это такая штука, которая может надолго парализовать человека. Сейчас он по-прежнему находится на вооружении.

Кого-то из зачинщиков мы арестовали, но этих людей было немного, и большая их часть после проведенной профилактической работы разошлась по домам. Все-таки уговоры подействовали. С нашей стороны в тот момент, когда мы освобождали площадь, раздавались, конечно, холостые выстрелы, но в толпу, повторяю, никто не стрелял.

За годы, проведенные мною на службе в МВД СССР, внутренние войска никогда не стреляли в свой народ. Никогда! Стреляли только в преступников, посягавших на честь народа! На честь людей! Если в Чимкенте на базаре пьяная толпа рвала на части местный отдел милиции и шла на штурм городского комитета партии, — вот тогда да, тогда войска стреляли. И защищали — тем самым — народ! Но ни у кого из нас, руководителей МВД, и мысли не было, чтобы отдать команду применить оружие «на поражение». Внутренние войска никогда не были вооружены разрывными пулями и безжалостными по отношению к человеку отравляющими веществами.

Уже здесь, в колонии, я узнал о событиях в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Сужу только по фотографиям: солдаты с саперными лопатками, залитые слезами лица мужчин и женщин, траурные процессии, море цветов, скорбь… свечи… Больно смотреть на эти фотографии. Но — приходится верить.

О событиях в Орджоникидзе я в полном объеме рассказал Леониду Ильичу. Он был шокирован, долго не мог понять, как же такое случилось, кто здесь виноват, что произошло. Это были тяжелые дни в его жизни. Больше всего он переживал за обком партии, за критику в его адрес.

Был созван Секретарит ЦК КПСС, его вел Суслов. Докладывал Соломенцев, присутствовал и министр Щелоков. Секретариаты ЦК проходили на Старой площади, в просторном зале здания ЦК КПСС. Обычно на него приглашались различные заинтересованные лица — в этот раз здесь выступали представители Отдела административных органов ЦК, Прокуратуры, МВД и КГБ. Обо всем говорилось как есть. Все действия внутренних войск и милиции были признаны правильными. Суслов дал очень резкую оценку работе партийной

организации республики по интернациональному воспитанию трудящихся. Кабалоев, вызванный на Секретариат, был немедленно исключен из партии и отправлен на работу в какую-то глухомань. Но разве от этого стало легче?

* * *

Я только раз в жизни говорил с Леонидом Ильичом о Сталине. Иногда я спрашиваю себя: почему Брежнев не повторил Хрущева в плане развенчания «культа личности»?

Думаю, здесь есть по крайней мере две причины. Во-первых, Леонид Ильич прошел войну с самого начала и до 9 мая 1945-го. Как и каждый боец, он был «заражен» на победу, а олицетворением этой победы тогда для всех без исключения был именно Сталин. Конечно, это сказалось и на Брежневе. А во-вторых, XX съезд КПСС уже высказал отношение партии к Сталину. Решения этого съезда в «эпоху Брежнева» никто не отменял, просто все было нормально и спокойно, никто Сталина не возвеличивал, но никто его и не затаптывал. Не было такого драматизма, ажиотажа и спекуляции вокруг имени бывшего руководителя страны, как сейчас. Но ведь при Брежневе никто не осуждал и другой «культ» — Хрущева. А это был именно культ. Тем не менее, никто не трубил о каких-то ошибках Хрущева, не твердил со страниц газет и журналов об «эпохе волюнтаризма». Каждый лидер партии и государства имеет право на ошибку хотя бы потому, что он не только лидер, но и человек.

* * *

Были ли свои слабости у Леонида Ильича? Конечно, были. Что я имею в виду? Скажем, его страсть к наградам. Эту страсть, почти болезнь, видели все. Для меня ясно, что в этом вопросе Генеральный секретарь ЦК КПСС должен был бы, конечно, вести себя скромнее, и я — признаюсь — говорил об этом Леониду Ильичу.

Как-то раз, пользуясь тем, что он был в хорошем расположении духа, я в очень осторожной и деликатной форме повел с ним разговор на эту тему. Леонид Ильич меня не понял. «Я, — говорил он, — не просил эти «звезды» у партии». «Кто же будет отказываться, — отвечаю, — если предлагают? Но, наверное, не надо бы, чтобы предлагали».

Леонид Ильич промолчал. По-моему, этот разговор шел после

присвоения ему звания маршала. Но во второй раз подобные вопросы не задаются. А потом мне и жена сказала: «Ну что ты раздражаешь человека, зачем это надо?» Тут уже я промолчал. А у него это действительно была слабость. И находились люди, даже из членов Политбюро — скажем, Суслов, которые по-своему играли на этой «струнке» Леонида Ильича. И не без пользы для себя. А Леонид Ильич это не видел — или не хотел видеть, не знаю. Но никогда не появлялся на людях при полных орденах.

* * *

Перестройке всего пять лет. Сейчас еще рано подводить итоги 18-летнему периоду пребывания у власти Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. А какое Леонид Ильич оставил после себя наследство — об этом, видимо, судить историкам. История — это та самая наука, которая со временем все поставит на свои места. Я где-то читал или слышал, что история — есть величайший хирург; по-моему, так говорили древние. Обидно другое. Только у нас в стране хают бывших высоких руководителей. При жизни захлебываемся от аплодисментов, а стоит человеку уйти из жизни — или просто на пенсию — как мы тут же начинаем вытирать об него ноги и изгаляемся над ним на все лады. Да порядочно ли это, на самом-то деле?! Почему в той же Америке так не бывает? Или мы просто уже не люди?

5

Сегодня утром получил письмо от Галины Леонидовны. Обычный конверт за пятак с портретом генерала Карбышева.

Письмо грустное.

Здравствуй, Юра!

Я получила три твоих письма, но вот с ответом что-то припозднилась. Время есть, но я немного захандрила, наверное, пройдет. Витуся и Гена работают[3], Галя в десятом классе, собирается поступать в Университет на филфак. Маму перевозили с дачи на московскую квартиру и простудили[4]. Вечером собрались все дети, внуки и кто помогал переезжать. Был и брат, но мы по-прежнему не разговариваем. Попрощалась мама со всеми, поблагодарила за хорошее отношение к ней, и мы разъехались. А на следующий день у нее поднялась температура, и ее забрали в больницу в инфекционный корпус.

Я разговаривала с ней по телефону, ей уже лучше. Витуся договорилась с Полиной[5], что пока она будет с ней. А потом — другая. Вот это у нас главная задача: наладить ей быт. Все это не очень просто. Но мы с Витусей сделаем все как надо. Как ни скажи, а забот прибавилось, ей ведь и есть не все можно, не говоря уже, что она совсем ничего не видит. Наверное, поэтому я и скисла. Как живу, я ответить не могу, не знаю. Нигде еще за эти три года не была.

Скоро тебе пришлют из суда бумаги[6], а после твоей подписи еще одна какая-то организация должна подписать. Потом, что решит суд по месту жительства — и все.

Жди, Галя, своей участи.

Страшно устала от всего. Дача стоит заброшенная, никто на ней не живет… Платить за дачу помогает мама. Никто не звонит и не приходит — за редким исключением. Все время одна. Вчера приходила Наташа, жена Гарика, было воскресенье, мне было тошно, я ей позвонила, она приехала. Посидели — поболтали. Посылала тебе две телеграммы в ноябре, но мне сообщили, что адресат выбыл[7].

Я, конечно же, буду писать, но не сердись, если что не так. Пойми, мне очень тяжело. Пиши, что тебя интересует.

Целую, Галя.

Здесь, из колонии, можно несколько раз в год звонить домой. Потом эти деньги высчитывают из твоей зарплаты. Прочитал письмо и понял: нужно позвонить, хоть как-то поддержать человека…

Но моя «очередь» не скоро, месяца через два…

Ничего не поделаешь. Закон для всех один, хотя газеты раструбили, что в колонии меня встречали чуть ли не с оркестром, что Чурбанов и тут превратился, как сказал писатель Юрий Нагибин, в некую «тюремную номенклатуру».

* * *

Я хорошо помню тот день, когда застрелился Щелоков. Было это уже при новом министре Федорчуке, где-то через год-полтора после того, как Щелокова отправили на пенсию. Удивился ли я такому финалу? Пожалуй, все-таки нет. Самоубийство для Щелокова было в известной степени выходом.

Сначала, добровольно и первой, ушла из жизни его жена. Мы с Федорчуком находились на службе, это, как помню, была суббота, когда Федорчуку позвонили и передали информацию, что в Серебряном бору на даче застрелилась Светлана Владимировна, жена Щелокова. Федорчук выяснил, как развивались события: Светлана Владимировна находилась в спальне, кто дал ей пистолет — сказать не берусь; накануне вечером у них с Щелоковым состоялось бурное объяснение, когда Щелоков кричал ей, что она своим поведением и стяжательством сыграла не последнюю роль в освобождении его от должности. Трудно сказать, имел ли этот скандал продолжение утром, когда раздался выстрел. Щелоков находился внизу, рядом с ним был еще один человек (то ли садовник, то ли дворник), и вот, когда они вбежали в спальню и увидели на полу труп, то Щелоков сам кинулся к этому пистолету и тоже хотел покончить с собой. Но человек, который был рядом, вышиб этот пистолет и спрятал его.

Вот так была предпринята первая попытка добровольного ухода из жизни. Потом, когда последовали многочисленные вызовы в Главную военную прокуратуру, Щелоков, очевидно, просто сломался. Мне он не звонил, хорошо понимая, что телефоны уже прослушиваются, а «вертушки» у него больше не было. В какой-то момент он узнал, что к нему приедут забирать ордена и медали, которых его лишили; находясь в возбужденном состоянии, он схватил охотничий карабин и выстрелил себе в лицо. Вот так…

Не исключено, что если Щелоков был бы жив, он был бы сейчас на скамье подсудимых. Так мне кажется. Значит, самоубийство действительно было для него выходом.

Ни я, ни другие члены Коллегии не были допущены на похороны Щелокова. Это было указание. Чье — могу только догадываться.

Леонид Ильич по своей инициативе почти никогда не говорил со мной о Щелокове. Слишком много было у него других государственных забот, чтобы уделять Щелокову особое внимание.

Даже когда Леониду Ильичу от Андропова или Черненко становилось известно, что Щелоков мог в любой момент поехать на какую-то выставку и за счет хозяйственного управления приобрести вещи для своей семьи, Леонид Ильич со мной не делился. Да и зачем? Я и так все знал. Но Леонид Ильич реагировал на эту информацию незамедлительно, и Щелоков тут же получал от него взбучку.

Или, например: как-то раз Щелоков заикнулся о защите докторской диссертации — доктора экономических наук. Защита должна была состояться в одном из институтов Госплана, и кто-то любезно, чуть ли не афишами на тумбах оповестил об этом прохожих. Вот эту афишу, снятую с тумбы, доставили Леониду Ильичу; он вызвал к себе Щелокова и сказал ему: «Если хочешь защищаться и читать лекции, то иди работать в МГУ!» Крепко тогда получил Щелоков от Леонида Ильича. И только позже, когда Леонид Ильич уже неважно себя чувствовал, Щелоков сумел защитить свою диссертацию — а какая тема, меня совершенно не интересовало.

Что же касается коррупции в системе МВД СССР, то уже здесь, в колонии, я часто задумываюсь: а была ли такая коррупция? Во всяком случае, как пишут о ней сейчас. В таких масштабах. Я пока ответа не нахожу. Если и были эти картины, ценности, которые не сдавались… наверное, да, они были, но я ничего об этом не знал, от меня это, естественно, скрывали, а сам я картинами сроду не увлекался. О спецмагазине для сотрудников министерства я узнал только после смерти Щелокова; понятия не имею, где он был спрятан, какие там цены, кто его посещал, — наверное, члены Коллегии ездили. Один Щелоков держать этот магазин не мог. Но все-таки магазин и картины — это еще не коррупция.

Одно могу сказать: если бы я знал об этом магазине, о картинах и прочем, Щелоков был бы жив. Уберегли бы мы человека.

У меня, не скрою, были честные и прямые разговоры о Щелокове с Юрием Владимировичем Андроповым. Особенно — в последние годы. Юрий Владимирович был прекрасно обо всем информирован, прекрасно. У меня же было довольно щекотливое положение. Щелоков — мой начальник. Я не мог подробно, изо дня в день, рассказывать о его поведении Леониду Ильичу. Получалось бы, что я «с прицелом» копаю под своего начальника.

Видимо, он перепроверял мою информацию… А у кого — не знаю. Очевидно, тот работник… или кто там… докладывал ему о положении дел в МВД не в полном объеме.

Словом, мои рассказы и его информация здесь не состыковывались между собой. Поэтому я предлагал Юрию Владимировичу: «Расскажите все Леониду Ильичу, надо же что-то предпринять, надо нам как-то человека уберечь». А Юрий Владимирович откровенно признавался: «Если бы ты знал, как мне не хочется этого делать, Леонид Ильич себя неважно чувствует…» «Тогда, — говорю, — придется мне, больше некому. А что мне, в конце концов, терять? Нечего, кроме подзатыльников».

Тем не менее, Юрий Владимирович отговаривал: «Не надо, Юра, давай побережем Леонида Ильича». И если бы тот же самый отдел административных органов ЦК, тот же Савинкин, который располагал информацией в достаточном объеме, вот если бы кто-то из них осмелился… Ну, бог с ней, с личной карьерой, дела государственные и дела министерские поважнее, как говорят в армии, «дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут», — вот если бы кто-нибудь из них проявил бы настойчивость и решился бы доложить о всех этих «фокусах» Леониду Ильичу, была бы польза, я не сомневаюсь.

Ну, скажем, тот же «подпольный» магазин с заниженными ценами. Возникает только один вопрос: зачем он нужен? Что, министру внутренних дел СССР не могли достать дубленку или сапожки для супруги — так что ли? Да вопросов не было! Нужно — пожалуйста! Неужели члены Коллегии МВД, заместители министра не могли по линии военторга или других «торгов» приобрести для себя все, что нужно? Тоже — пожалуйста! То ли это зуд был какой-то, то ли какие-то изменения в людях произошли, то ли это была дань общей болезни тех лет, названной «вещизмом», — не знаю. Но она, эта жилка, появилась у Щелокова еще где-то в середине 70-х, когда он вдруг стал достаточно часто появляться на выставках — отечественных и зарубежных, — то есть давала о себе знать тяга ко всему красивому, узорчатому и всему заморскому. Может быть, тут и семья стала на него влиять? Думаю, да. В большой степени. А самое неприятное, что об этой его «жилке» знали почти все. Слава богу, что я хотя бы в этой истории не замешан. Тут даже Гдлян ничего не мог придумать.

Единственно, что мне ставится в вину, так это то, что я от имени Коллегии МВД СССР подарил Щелокову золотые часы в день его 70-летия.

Было это так. Все мы знали, что 26 ноября 1980 года у

Щелокова — юбилей. Члены Коллегии, особенно начальник хозяйственного управления министерства генерал Калинин, стали готовиться к этой дате. Не помню сейчас детали моего разговора со Щелоковым, но я у него спросил: «Товарищ министр, члены Коллегии интересуются, что вам подарить к 70-летию?» «А что вы можете?» — спрашивает Щелоков. Я подумал, и говорю: «Члены Коллегии решили, что мы можем скинуться и что-то вам купить».

Ну, по сколько мы могли скинуться? По 50 или 100 рублей, а из уважения к министру можно было и что-то домой не донести, еще добавить денег: нас было шесть или семь замов, то есть получалась вполне приличная сумма, хороший подарок. По-моему, Щелокову это не понравилось. Очевидно, показалось мало.

«Не надо сбрасываться, — сказал он. — Калинин сам все организует». Потом, уже когда шло следствие и генералу Калинину грозил суд, выяснилось, что он приобрел эти часы (на деньги министерства) в каком-то ювелирном магазине, отреставрировал их. И вот, не зная, что это за часы и на какие деньги они куплены, я вместе с большим букетом праздничных гвоздик вручил их Щелокову от имени Коллегии. Было это где-то в 10 часов утра, мы все вошли, поздравили его, выпили по бокалу шампанского, то ли за счет ХОЗУ, то ли за счет юбиляра, не знаю, и разошлись по рабочим местам. С нами был и Калинин.

При Щелокове это был «образцовый» генерал, с его вечным: «Чего изволите?» Здесь, в «зоне», где мы сидим, это «образцовый» заключенный. Передо мной он тоже пытался «подхалимничать», но быстро понял, что мне проще матом его послать, и тогда он полностью «переключился» на министра. Это был его «ручной завхоз». Кстати говоря, я не помню, чтобы Щелоков широко отмечал свой юбилей. В этот день приезжали какие-то делегации, это так, но паломничества не было, его стол в этот день не был завален подарками.

От КГБ СССР был, наверное, только приветственный адрес; Юрий Владимирович, питая определенные «симпатии» к Щелокову, не дарил ему ничего. Протокольный адрес — и все.

Если говорить честно, то я бы сказал, что в последние годы Щелоков работал не так уж плохо. Но его все время одолевали какие-то не рабочие мысли. Рабочий день министра кончался где-то около семи часов вечера, у него, как и у всех людей, было два выходных. А мне, если удавалось отдохнуть в воскресенье, так это было хорошо. Мне часто приходилось оставаться за Щелокова, особенно в вечернее время. Так же много и продуктивно, кстати говоря, работали не только члены Коллегии МВД, но и —

руководители КГБ, прежде всего сам Юрий Владимирович. А о его болезни мы узнали только в последнее время, когда он был уже Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Как только Леонид Ильич умер, уже буквально через две недели Андропов отправил Щелокова в «райскую группу» — так называется в просторечии группа генеральных инспекторов Вооруженных сил СССР. В общем, это то же самое, что и уход на пенсию. Щелоков и опомниться не успел. Я думаю, что Андропов с неприязнью относился к Щелокову не только за «магазин», тут, видимо, существовали какие-то другие, более глубокие причины.

Юрий Владимирович был истинным коммунистом. Если человек, носивший в кармане партбилет, совершал поступки, порочащие имя коммуниста, он не только переживал — этот человек вызывал у него принципиальное презрение. А если это был не просто человек, а руководитель, тем более министр, то тут и говорить нечего. Уверен только, что Андропов не питал симпатий к Щелокову не потому, что ревновал его к Брежневу, это чепуха. Сам Андропов был намного ближе к Леониду Ильичу. Я даже думаю, что, говоря об отношениях Щелокова и Андропова, нельзя употреблять резкие эпитеты. Не личная ненависть, а принципиальные расхождения во взглядах на то, как должен вести себя руководитель министерства, — вот что было между ними.

Даже лично хорошо ко мне относясь, Андропов, конечно, не мог сделать меня министром. Тут существовали определенные соображения этического характера. Юрий Владимирович был мудрым человеком. В этом плане я его понимаю и разделяю его неразгаданные мысли. Больше того: исходя из тех же самых соображений, я и сам, конечно, никогда бы не согласился. Зачем плодить ненужные разговоры?

* * *

Каким же министром был Николай Анисимович Щелоков? Что это за человек? Каковы его положительные и отрицательные качества? Не так просто, наверное, будет разобраться, но я сразу скажу: и все-таки это был министр.

Я понимаю, конечно, что иду сейчас вразрез, о Щелокове так много негативных статей, и у меня наверняка появятся серьезные оппоненты, но ведь заключенному, прямо скажем, терять нечего. Характерная деталь: лишив Щелокова всех орденов и медалей, Президиум Верховного Совета СССР все-таки оставил ему его боевые награды. А если взять Щелокова до войны, во время войны

и на посту министра, то это совсем разные Щелоковы.

Сразу скажу, что я никогда не был близок с министром, как сейчас преподносит печать, но пусть это будет только деталью в нашем разговоре. Щелоков — человек самостоятельного мышления, очень энергичный, с хорошей политической смекалкой, которую, правда, сейчас возводят в степень политического авантюризма (где-то, наверное, это так), но все-таки определенная взвешенность и продуманность принимаемых решений у Щелокова была всегда. Он колоссально много работал, особенно в первые годы, когда он действительно глубоко изучал корни преступности в стране. При нем органы внутренних дел стали более уважаемы в народе.

Сейчас говорят, что это журналисты помогали создавать подобное «уважение», но я думаю, что ни один журналист не может взахлеб рассказать о каком-нибудь органе, если этот орган плохо работает. Для милиции было много сделано и в материальном отношении; в 1981 году Совет Министров решил вопрос о повышении денежного содержания сотрудникам органов. Если раньше за офицерское звание лейтенант получал 30 рублей, то теперь — уже 100. Придало ли это новый импульс нашей работе? Бесспорно. Повлияло ли это на стабилизацию кадров, приток новых сил? Конечно.

Я не знаю, поэтому не говорю сейчас об образе жизни Щелокова вне стен министерства, но меня и других членов Коллегии всегда подкупали энергичность, моторность министра, его умение «пробить» интересные вопросы. Кстати, именно Щелоков не раз протестовал, ссылаясь на зарубежный опыт, против больших сроков наказания для женщин и для подростков.

Он предлагал вывести из подчинения Прокуратуры весь следственный аппарат и подчинить его МВД или иметь самостоятельное следствие — в этом он видел большую пользу. А то у нас получается, что Прокуратура и ведет следствие, и надзирает за ним. А это в корне неправильно. Тут сплошь и рядом происходят ошибки, как сейчас.

Щелоков бережно относился к кадрам, я не помню ни одного случая, чтобы чья-то судьба была сломана, чтобы лицо, входившее в номенклатуру министерства, было с позором из органов изгнано, чтобы вокруг этого оступившегося человека искусственно нагнеталась обстановка.

Давайте представим себе начальника УВД крупного промышленного города или области; ведь это человек, которому доверен исключительно важный участок работы — и политический, и криминальный; забот у него хватает. И пусть этот человек даже споткнулся, сделав что-то… То тогда давайте

все-таки положим на весы: с одной стороны, его многолетнюю и безупречную службу, а с другой — вот тот проступок, который он совершил. Что перетянет? Неужто нужно сечь голову генералу, изгонять его с позором из органов, отдавать под суд, лишать его формы, орденов и пенсионного обеспечения в старости?

Другая заслуга Щелокова, которую никак нельзя сбросить со счетов, — это установление тесных контактов с партийными, советскими и другими государственными органами. При нем значительно расширена сеть учебных заведений МВД СССР. У нас появились Академия, Высшая школа милиции в Горьком, обновлялись кадры милиции, работа сотрудников аппарата становилась более конкретной, несколько снижалась преступность по отдельным ее видам. По инициативе Щелокова были установлены прочные контакты с органами внутренних дел социалистических и развивающихся стран, увеличили прием на учебу иностранцев.

Конечно, мы не проводили вместе с варшавской милицией операции по отлову советских контрабандистов, тогда их было очень мало, мы к ним интереса не проявляли; у нас не было такой вакханалии в районе Бреста, как сейчас! Отсюда вывод: варшавская криминальная полиция охотно перенимала опыт Московского уголовного розыска; у нас было чему поучиться нашим друзьям — и в хватке, и в оперативном мастерстве. Кроме того, мы всегда оказывали им помощь, снабжали их новейшей криминалистической и другой рабочей техникой, и хотя все это, конечно, Советскому Союзу влетало «в копеечку», нам неоднократно приходилось слышать, что эти деньги было бы можно отдать и собственной милиции, — так, мне кажется, ставить вопрос все-таки нельзя. Да, для нас эти поставки обходились, конечно, дороговато, но и помогать тоже было надо, никуда от этого не денешься. Мне доводилось встречаться с руководителями Польши — той Польши, еще социалистической; я всего один раз был в ГДР, да и то недолго; был в Венгрии, в Болгарии, знакомился с работой их милиции — это была глубокая искренняя дружба между нашими странами; мы откровенно делились (по линии органов) своими проблемами, а они — своими, не менее сложными.

В аппарате Щелокова любили. Он всегда очень хорошо выступал. Не только, как говорится, со знанием дела, но и с большой ответственностью за свои слова: если, скажем, он давал обещание решить вопрос по улучшению жилищных условий, санитарно-курортного и медицинского обслуживания, то он обязательно решал эти проблемы. Кроме того, Щелоков всегда достаточно спокойно относился к критике в свой адрес. Точнее —

с пониманием. Он (особенно в первые годы) много бывал в командировках по стране, знал обстановку на местах, регулярно приглашал в Москву руководителей органов внутренних дел республик, краев, областей, обязательно встречался с ними, долго и откровенно разговаривал.

По инициативе Щелокова мы каждый год проводили большие — они назывались «итоговыми», ибо подводили результаты нашей работы за год — совещания. Они шли по два-три дня. На эти совещания всегда приглашались представители отдела административных органов ЦК КПСС, Председатель Верховного Суда СССР, обязательно присутствовал кто-то из первых заместителей Председателя КГБ СССР, министры внутренних дел союзных республик, начальники УВД краев и областей, крупных городов — Москвы, Ленинграда, Киева и других. По поручению Коллегии с докладом об основных итогах работы органов за год всегда выступал сам министр. Люди, находившиеся в зале, прекрасно понимали, что этот доклад носит исчерпывающий и объективный характер — фальшивить и «затирать» какие-то факты было бы невозможно; хотя бы потому, что приглашенные товарищи и без того прекрасно знали обстановку в каждом регионе.

Самая резкая критика Щелокова звучала в докладе самого Щелокова. Со своей стороны выступавшие на совещании руководители милиции тоже давали оценку лично своей и нашей общей работе. Со стороны руководства МВД СССР и Прокуратуры СССР тщательному анализу подверглись оперативно-служебная деятельность органов в тех регионах, где была наиболее тяжелая обстановка с преступностью. Всегда шел очень деловой и конструктивный разговор — и Щелокову это нравилось. У нас не существовало никакой «маниловщины», нас почти никогда не удовлетворяли результаты собственной работы.

Сама обстановка на этих совещаниях была достаточно спокойной и рабочей. Генералы, приехавшие с мест, свободно критиковали Щелокова и членов Коллегии, заместителей министра, ставили перед нами вопросы, прямо говорили, что требуется для укрепления органов в различных регионах страны. Все это происходило на здоровой основе, глаза в глаза, без каких-то интриг и кулуарных смакований.

Однако в последнее время у Щелокова появились элементы самолюбования. И это видели все. Он часто говорил: вот я был у Леонида Ильича, вот Леонид Ильич просил передать привет коммунистам министерства и т. д. А Леонид Ильич, кстати говоря, всегда держал его на расстоянии; по крайней мере, сколько бы я ни находился на его даче в вечернее время или на

каких-то торжествах — Щелоков там не появлялся.

Часто ли он бывал у Брежнева? По моим данным, нет, не часто, мы ведь всегда знали, кто и куда уезжает. Поддерживал ли его Леонид Ильич? Наверное, да, все-таки — важное министерство. Но в то же время, когда Щелокова слушали на Политбюро или Секретариате ЦК, то Щелоков был не Николай Анисимович, близкий друг Леонида Ильича, как это сейчас подают, а Щелоков был — товарищ Щелоков, министр, который нес всю полноту ответственности.

Тот же штришок о защите Щелоковым докторской диссертации, который я уже приводил, говорит о том, что он был под контролем, поблажек ему не было. Леонид Ильич проявлял твердый характер. Правда, зачем Щелокову нужна была докторская диссертация, до сих пор не могу понять. Какие-то публикации он потом подписывал: министр, доктор экономических наук. Только для этого, я думаю.

У Щелокова никогда не было своего личного самолета, как сейчас пишут газеты, если он куда-то летел, тот самолет (ТУ-134) арендовался в Министерстве гражданской авиации. Наше министерство оплачивало этот рейс, но для МВД на приколе он никогда не стоял. Что же касается меня, то я просто летал обычными рейсами — а с людьми, между прочим, всегда веселее лететь. В кассе Аэрофлота приобретались билеты, и эти билеты потом подкалывались в финансовые отчеты. Там же были и квитанции за проживание в гостинице.

У Щелокова всегда были хорошие отношения с интеллигенцией. Будучи человеком исключительно культурным и начитанным, он дружил с Хачатуряном, с Ростроповичем и Вишневской, общался с Шостаковичем; и Шостакович (по своей инициативе) написал для милиции несколько новых произведений — в том числе, «Марш советской милиции». Щелоков хорошо знал не только музыку, но и архитектуру, живопись. Как-то раз мне довелось быть свидетелем его разговора с художниками. Он был хорошо с ними знаком, и они к нему тоже тянулись.

Мне кажется, так и должно быть. Разве в этом есть что-то противоестественное? Мы просто привыкли к тому, что полицмейстер должен быть грубым человеком, вот и все! А это не так. Щелоков действительно был принят в ряды интеллигенции.

Светлану Владимировну, жену Щелокова, я почти не знал, мы встречались с ней только на концертах в честь Дня советской милиции. У них в гостях был редко, из других заместителей министра на даче Щелокова бывали только один-два человека; причем, когда Щелоков получил звание Героя Социалистического

труда, то что-то не слышал, чтобы он устраивал какой-то большой банкет. Просто к нему на госдачу были приглашены только некоторые из его заместителей, еще два-три человека, ему известных, вот и весь круг его гостей. О других еще каких-то торжествах мне ничего не известно. И хотя дачи заместителей министра стояли рядом, я там не бывал; от своей дачи, как уже было сказано, я отказался (по совету Леонида Ильича) раз и навсегда. Леонид Ильич говорил так: «Если не хотите жить у себя на личной даче, то приезжайте и живите у меня». Когда госдачи Министерства внутренних дел стоят бок о бок, вот где не избежать интриг, разговоров, сплетен — тут их хоть отбавляй; ходи и собирай информацию! Леонид Ильич здраво мыслил и даже в этом плане всегда старался обезопасить своих родственников от излишних и никому не нужных пересудов, в этом тоже была его житейская мудрость.

Еще меньше я знал сына Щелокова — Игоря. Не глупый парень, окончил Институт международных отношений, работал в комсомоле, но иногда злоупотреблял положением отца. Отсюда все его недозволенные «фокусы» и выкрутасы. Дочь Щелокова я видел только раз, она производила впечатление обычной девушки.

Я никогда не боялся Щелокова. А что его бояться? Мы с ним были одной номенклатуры, он утверждался ЦК КПСС и я — тоже, он был избран в состав ЦК, и я был избран; только ЦК КПСС и мог нас рассудить. Но то, что разговаривая с ним, я всегда называл вещи своими именами и не скрывал от него положение дел в стране, он воспринимал, конечно, без особой радости. Каждое свое предложение я всегда оформлял в виде докладной записки лично министру, либо — в адрес Коллегии; похоронить эти документы было трудно. И если я видел, что Щелоков упрямится из-за чего-то личного, я мог в любое время подъехать в Отдел административных органов ЦК и доложить свою точку зрения. Вот с этим Щелоков уже был вынужден считаться. У него не было попыток спихнуть меня, он заранее знал, что эти попытки ни к чему бы хорошему не привели, но какой-то элемент зависти, может, что-то и другое, у него все-таки на мой счет был.

Конечно, он ревновал меня и к Леониду Ильичу. И главная причина тому — возрастная разница. А мои недоброжелатели в аппарате министерства этим умело пользовались, потихонечку разжигали его ревность. Ссорили нас мелко, гадко, исподтишка; я догадывался об этом, только когда Щелоков вдруг задавал мне вопросы о каких-то моих действиях, казавшихся ему неверными, о каких-то моих решениях, с которыми он не соглашался. Мы так устроены, что интриги у нас есть в любом аппарате, независимо

от его назначения и структуры. Наши чиновники не чураются «аппаратной возни». Бороться с этим почти невозможно.

Что же касается ревности Щелокова, то ее еще больше усугубляли мои работоспособность, мобильность, частые поездки в командировки, желание все увидеть своими глазами, личные контакты с руководителями на местах. Кроме того, по долгу службы я имел достаточно хорошие отношения с руководителями служб национальной безопасности социалистических стран. С их стороны шли, в общем-то, неплохие отзывы о наших отношениях, и это еще больше задевало больное самолюбие министра. Никто за мной не шпионил, конечно, но если сказать… приглядывали ли, — то да. Приглядывали. Это было.

Конечно, Щелокову полагалось бы взять да и объясниться со мной. Тем более он знал, что я всегда был сторонником открытого и честного диалога. Знал, но не делал этого, молчал. А когда за твоей спиной идет вся эта возня, «терки», как говорят у нас в колонии, что в переводе на русский язык означает — болтовня, то и у меня появлялось к нему какое-то свое недоверие. Все-таки он министр. У него большой опыт работы. Я не отрицаю, что у меня могли быть ошибки, не возвожу себя в какой-то «идеал» — так тем более, казалось бы, надо бы нам с ним искать и находить общий язык, но это стремление, увы, было односторонним.

Жалею ли я Щелокова? Трудный вопрос. Жестоко с ним поступила судьба? Впрочем, к кому из нас она оказалась милостива?..

6

Уже после суда я виделся с женой в стенах Лефортовского изолятора. Пока шел суд, от Галины Леонидовны никаких весточек не было, а тут вдруг нам дали короткое свидание. Но меня и здесь не оставляли одного. Во время разговора присутствовал заместитель начальника изолятора, фамилию его я не помню; он живо интересовался беседой, потом мы пили чай с лимоном. Впрочем, тогда еще лимон в разряд дефицита не входил, и деньги на этот чай, судя по моей тюремной «зарплате», не вычитали.

В общем, встретились мы с Галиной Леонидовной и попили чайку. Она сказала: «Где бы ты не находился, я буду тебя ждать».

Вот так мы и простились.

Отсюда, из Лефортова, меня отправили в пересыльную тюрьму на Красной Пресне. Это — старая тюрьма, она хорошо известна в преступном мире. Почти в центре Москвы, за Зоопарком, в глубине улицы 1905 года стоит огромная тюрьма, рассчитанная на несколько тысяч человек. Огромные массивные ворота. Грязь на территории, вышки, колючая проволока. Вокруг — жилые дома. Когда нас выводили на прогулку, мы видели, что с балконов этих домов хорошо заметно, как во дворе гуляют заключенные. Но это еще что!

Знаменитая «Матросская тишина», старая тюрьма, расположенная в Сокольниках, просто чуть ли не впритык окружена жилыми домами; поэтому когда в изоляторе шумят подростки (а эта публика никогда не унывает), то по периметру тюрьмы включаются «ревуны» — да так, что от них вздрагивают все дома вокруг.

Это — старые тюрьмы, они подчиняются не КГБ, а МВД, а КГБ имеет только следственные изоляторы. Когда я был первым заместителем министра, мы несколько раз ставили вопрос о том, что московские тюрьмы нужно выводить за пределы города. Не было денег. Чтобы преобразить наши тюрьмы, требуются колоссальные средства — ведь все эти тюрьмы дореволюционного происхождения. Если мне не изменяет память, то за годы советской власти мы не построили у нас в стране ни одной новой тюрьмы. Лагеря строили, но тюрьмы — нет. А зная реальную обстановку в стране, строить тюрьмы было, конечно, нужно; и прежде всего с учетом, что перед этапом здесь содержатся и женщины, и подростки, и женщины с детьми. Но проблема осталась нерешенной. Так и по сей день.

Прежде в московских тюрьмах я не был, если бы знал,

конечно, как мной распорядится судьба, то поинтересовался бы, наверное; но отправляясь в поездки по стране, я обязательно посещал следственные изоляторы и колонии. Тогда офицеры и прапорщики получали немного — где-то по 150 рублей, и это — при достаточной выслуге лет. А текучесть кадров в этих не престижных заведениях очень большая. Прежде всего нужно было думать об улучшении материального обеспечения личного состава. И хотя после 1981 года офицеры стали получать значительно больше, эта категория военнослужащих требует к себе постоянного внимания.

Ну вот, привезли меня в Краснопресненскую пересыльную тюрьму, поместили в камеру, где уже было восемь человек, и держали здесь дней десять, даже чуть больше. На свидание ко мне приходили брат, сестра. Брат еще старался как-то держаться, а Светлане было совсем плохо. Потом приехала Галина Леонидовна. Нам дали свидание. Офицеры Галю не оскорбляли, держали себя корректно, и — ничего не могу сказать — вообще ко всем моим родственникам здесь относились очень уважительно.

Как и положено, свидание длилось где-то около часа, может быть, чуть больше. Галина Леонидовна была в тяжелом состоянии — я смотрел на ее лицо, такое знакомое, такое родное и почти его не узнавал. Жена очень сильно изменилась. Сейчас это был уже совсем другой человек. Поговорили о делах дома, имущество уже было описано — по приговору суда оно подлежало конфискации. Галина Леонидовна не хотела бороться: «Пусть все забирают, — говорила она, — лишь бы оставили в покое». Я не хотел возражать.

Никто не знает, что пережила эта женщина за последний год. И я тоже не знаю, ведь я был уже под арестом. О том, сколько слез она выплакала, сколько ночей проведено без сна, можно было догадаться по ее лицу. Тяжелый «пресс» обрушился на Галину Леонидовну с первых же дней моего ареста.

Тот же полковник Миртов во время следствия все время твердил: «Пусть ваша жена сдаст свои драгоценности и скажет, что вы привезли от Рашидова из Узбекистана». Это повторяли Гдлян и Иванов. Я отвечал: «Что вы все ко мне? Вы сами предложите это Галине Леонидовне, пусть она их и сдает». Вот такие были разговоры. А если бы я пошел на это «предложение», то… в общем, Гдлян все время сулил мне какую-то поблажку.

Драгоценности Галины Леонидовны — это серьги, кольца, кулон и браслет, подаренные родителями. Что-то из своих украшений она приобретала сама, но среди всех этих «цацек» ничего сногсшибательного не было. Единственное, Гале всегда очень нравились серьги, среди них одна пара, я помню, была

действительно дорогая — это золото с бриллиантами на сумму в несколько тысяч рублей. Но зато другая пара серег стоила уже всего несколько сот рублей — то есть Галина Леонидовна имела лишь то, что ей действительно нравилось и шло. Ни о каком коллекционировании бриллиантов и речи быть не могло. Леонид Ильич бы и не позволил. Повторяю, он хорошо знал, как мы жили.

Так вот, Галина Леонидовна сказала: «Пусть все забирают; за имущество я бороться не стану. Пусть и квартиру забирают. Все равно я пока буду жить у друзей». Галина Леонидовна сама хотела подать заявление, чтобы у нас забрали четырехкомнатную квартиру и дали бы ей квартиру из двух комнат в любом районе Москвы. Я не отговаривал. В наших четырех комнатах было чуть больше 80 метров, квартира удобная, но не «двухэтажная», как писали в газетах; это новый дом на улице Щусева, рядом с тем самым Домом архитектора, где мы 15 лет назад встретили друг друга.

А через 10 дней, уже около шести часов вечера, раздалась команда — «На выход с вещами!» Еще до этого нас постригли наголо, «оболванили», как тут говорят; выдали на дорогу жутко соленую, тюремно-ржавую селедку, две или три буханки хлеба, рыбные консервы «Кильки в томате» и немного сахара. Все это — на три дня пути. Хорошо, что в тюрьме есть непреложный закон: когда человек уходит на этап, то его собирает вся камера. Дают ему с собой, у кого что осталось — кто кусок хлеба, кто кусочек сахара, кто сигареты, кто спички. То есть камера собирает тебя в дорогу. Те люди, с которыми я встретился здесь, на нарах, все семь человек, были в прошлом сотрудниками органов внутренних дел. Ни с кем из них я прежде не был знаком, но они, естественно, хорошо знали, кто я такой, что я за «птица»; а Юра Беляков, москвич, бывший сержант патрульно-постовой службы, осужденный за взятки, даже уступил мне свое место внизу (нары были двухъярусные), сам забрался наверх; сейчас он здесь, в этой же колонии, что и я, работает грузчиком.

Почему камера собирает людей на этап? Это не дань каким-то воровским ритуалам, нет — это просто необходимость: куда и сколько ты будешь ехать, никто не знает, в дороге тебя не покормят, вагона-ресторана в поезде нет, поэтому «сухой паек», который выдают в тюрьме, это все, что у тебя есть на несколько дней. Даже вода в вагоне только холодная, кипятка никто не даст, — вот и катишься ты, бедолага, по дорогам России!

Вывели нас на улицу, погрузили в автозак, привезли на вокзал и воткнули в знаменитые «столыпинские» вагоны.

Когда я был первым заместителем министра, я эти вагоны видел, но, разумеется, никогда в них не был и просто не

представлял себе, что это такое на самом деле. Полутемный вагон. В нем камеры на 6-12 человек каждая. Есть камеры для особо опасных преступников, таких, как Чурбанов, — они на три человека, хотя меня везли одного и в сопроводительном «наряде» было написано: строгая изоляция. Это значит, что я ни с кем не должен общаться и со мной — под страхом наказания — тоже никто не имеет права разговаривать.

Вагон называется «столыпинским», потому что такие ходили по России еще до революции, когда Столыпин был министром внутренних дел. Кажется, они даже сделаны по его чертежам.

Живут эти вагоны, живут! Может быть, чуть видоизменились с тех пор, а может быть, и нет: железная решетка, убогий свет, полки, грязь. Большой караул охранников. С одной стороны камера, с другой — узкий проход для охраны. Все в железе. Когда убирают, когда нет, но охрану в этом винить нельзя.

Вот этот вагон предусматривает этапирование всех категорий осужденных — и мужчин, и женщин. Не важно, кто ты, какое наказание определил суд, какой у тебя «режим» — усиленный или щадящий. Разумеется, женщин и мужчин в одну камеру не сажают, но все едут в одном вагоне. На каждой станции крупного города эта «тюрьма с локомотивом» пополнялась все новыми и новыми арестантами. Чем ближе Урал, тем страшнее было смотреть, как сюда в вагон набивались парни и девушки 15–16 лет — грязные, расхлябанные, агрессивные. Но к чести солдат (нас вез московский конвой] скажу, что они относились к зэкам по-человечески, не избивали и не глумились, хотя такое, как рассказывают, здесь тоже бывает. Да и не только это. Попытки бегства из этих вагонов были всегда, но все они, как правило, кончались либо смертельным исходом, либо человека ловили и давали ему новый срок.

Когда люди садятся в железнодорожные поезда, чтобы уехать туда, куда им нужно уехать, они даже не догадываются, что на всем пути следования, на каждой крупной станции их у нас в огромном количестве окружают зэки в «столыпинских» вагонах, прицепленных к почтово-багажным поездам и загнанных — подальше от глаз людских — на специальные запасные пути.

* * *

Я ехал, смотрел, и все время вспоминал последние встречи с Галиной Леонидовной. Что с ней будет? Как ей жить? По постановлению суда, все наше имущество подлежало конфискации. Ну, хорошо, меня осудили. Но она в чем виновата?

Тут еще вопрос, виноват ли сам отбывающий наказание, — почему же его семья должна влачить нищенский образ жизни? Осужденный, допустим, как-то проживет, государство, которое изолировало его от общества, гарантирует ему питание, спальное место и прочее. Но что будет с его семьей, она, его семья, это что же, не люди они, что ли? Получается, что если человек провинился, так его нужно обязательно раздеть до трусов, да еще и без резинки оставить, чтобы он просто был гол как сокол. И не его одного — всю его семью. Вот наши законы.

В нашем доме стояла самая обычная мебель, то ли венгерский, то ли румынский гарнитур; в 70-е годы такую мебель еще можно было купить в московском магазине, предварительно на нее записавшись. Значит, если один из членов семьи — арестован, а все имущество нажито совместно, то теперь его делить пополам, что ли? Если есть двуспальная кровать, так ее что, распиливать надвое? Один стул оставлять себе, другой вернуть государству? А подарки? Как тут быть? Ведь это — память. Если жена имеет драгоценности, подаренные родителями, то пусть это будут ее украшения, пусть! Кто имеет право на них посягнуть?

И все-таки самым дорогим в нашей семье было не это. Человек никогда не скажет, что в его доме ему особенно дорого, ведь есть вещи, стоимость которых нельзя мерить рублями. В нашем доме такими были охотничьи трофеи.

Их тоже конфисковали. Оценили в 80 тысяч рублей. Как это может быть? Кто объяснит? Охота — тяжелый труд, чтобы добыть зверя, за ним нужно походить, поползать… и все остальное. Охотничий труд не конфискуется. Да и были-то у нас всего лишь чучела кабана, оленя, глухаря, зайца — вот, пожалуй, и все. И это 80 тысяч рублей? Чушь какая-то!

У меня имелось несколько ружей — нарезных и гладкоствольных. Это были рабочие охотничьи ружья с хорошим огневым боем, без всяких там… золотых насечек или слоновой кости. На водоплавающую дичь надо обязательно ехать с гладкоствольным ружьем, а на крупного зверя — кабана, лося, оленя — нужно брать нарезное оружие. Большая часть этих ружей была подарена Леонидом Ильичом, другие покупали мы сами. Но разве суд интересуется, подарки это или не подарки? Виновен — и баста!

А когда вернешься из заключения, то живи, как хочешь.

О многом передумал я за эти три дня, пока наш «Столыпин» катил на Урал.

Остались ли у меня в Москве настоящие друзья? Не знаю. Не могу ответить утвердительно. Уже здесь, в колонии, я понял, что

так оно и есть. Тяжело в этом себе признаться, но что делать? Настоящие друзья обязательно писали бы сюда, в Нижний Тагил, а мне пишут только два моих водителя — Сережа и Коля, мой помощник Тимофеев и те люди, которые работали со мной в МВД, но которых я — так получилось — в тот момент почти не знал.

* * *

Наконец добрались до Свердловска. Нас — меня и еще двоих осужденных — привезли в пересыльную тюрьму и заключили в камеру. Пробыли мы тут недолго, один или два дня; и вот 23 февраля 1988 года, поздно вечером, нас доставили в Нижний Тагил. Было очень холодно, шел снег, на вокзале, куда мы прибыли в таком же «Столыпине», нас уже поджидало большое количество автозаков — в Нижний Тагил отправляют очень много заключенных.

До колонии № 13 ехали недолго, она практически в черте города, разместили нас в ШИЗО (так называется штрафной изолятор), матрацев не давали, так что мы спали прямо на полу. Жарко, душно, из кранов льется вода — хорошо, что у нас с собой оставалась какая-то пища, хотя все были настолько изможденны, что оказалось не до еды.

Повалились на пол и заснули.

Утром зашел заместитель начальника колонии по оперрежимной работе майор Коношенко, поинтересовался, как мы себя чувствуем.

А самочувствие было неважное, и после десяти дней пребывания в «карантине» меня отправили в санчасть с подозрением на туберкулез.

7

Одно из самых серьезных обвинений, предъявляемых мне сегодня прессой, — самоубийство члена Коллегии МВД СССР генерала Крылова. Есть, говорят, даже документальный фильм на эту тему. Вот теперь, пожалуй, я и расскажу, как же все было на самом деле.

Кто такой Крылов? Как он оказался в министерстве? Крылов пришел в органы внутренних дел из Высшей школы КГБ, кто-то из руководства Комитета порекомендовал его Щелокову как работоспособного, энергичного и пишущего человека. Был ли он работоспособен — это смотря что понимать под работоспособностью. Если человек приезжает по ночам в министерство, поднимает по тревоге своих подчиненных, включая стенографистку и машинистку, и отрабатывает свои идеи, мотивируя тем, что эти идеи нужны министерству именно утром; а потом эти идеи оказываются никуда не годными и летят в корзину, то я бы не называл это работоспособностью. Это, если хотите, унижение человека. Крылов постоянно находился в плену каких-то несбыточных (для органов внутренних дел) идей.

В аппарате его не любили. Но он полностью очаровал Щелокова; какие-то его идеи Щелоков потом выдавал за свои, я и мои товарищи (члены Коллегии) считали их не только сомнительными, но и вредными. Крылов «получил генерала» и считал себя в министерстве чуть ли не первым лицом. И вот когда его деятельность стала уже совершенно невыносимой, все члены Коллегии в один голос потребовали от министра, чтобы Крылов оставил свой пост. Нас поддержал и Отдел административных органов ЦК КПСС. К этому моменту Щелоков и сам был уже готов отмежеваться от Крылова, но Крылов, бесспорно, умел гипнотизировать и хорошо чувствовал болевые точки Щелокова (позже выяснилось, что он страдал и эпилепсией). Принимается компромиссное решение: назначить Крылова начальником Академии МВД и оставить его членом Коллегии; он был кандидатом наук, каких — не помню, скорее всего военных, хотя, что нового он внес в строительство и укрепление Вооруженных сил, — сказать не могу. Вот так Крылов появился в стенах академии.

Там начался полный хаос. Ко мне стали поступать серьезные сигналы о самоуправстве Крылова, о его неуважительном отношении к людям, о кадровой чехарде и т. д. Но один визит Крылова к министру — и все закрывалось; у него свет в окошке был только министр: ни Чурбанова, ни Богатырева или Заботина,

ни других замов для него не существовало. Тогда я написал министру докладную записку: считаю целесообразным проинспектировать Академию в полном объеме. Сначала министр мне отказал, но не в лоб, а аккуратно написал резолюцию: не отказать, а временно воздержаться. Сигналы из Академии продолжали поступать. Я пишу второй рапорт, но он тоже хоронится. Тогда я сказал Щелокову: «Товарищ министр, если вы не дадите санкцию на проверку Академии, я доложу в Отдел административных органов, и пусть там нас рассудят».

Тут, видимо, он ничего сделать уже не мог, тем более, что в отделе ЦК я заручился поддержкой. Мы сформировали авторитетную комиссию, в нее вошли начальники ряда управлений: была поставлена задача объективно проверить Академию по всем позициям. И чем глубже мы копали, тем больше находили негатива. Смена кадров, протекционизм, но в самые большие дебри мы влезли, когда знакомились с вопросами финансово-хозяйственной деятельности Академии. Мебельные гарнитуры, которые покупали для Академии, перекочевали на квартиру Крылова; там же оказались два цветных телевизора, принадлежавших учебным классам. Вот, если взять только один аспект хозяйственной деятельности, против Крылова можно было возбудить уголовное дело.

Министр ушел в отпуск и отдыхал в Подмосковье, Крылов пытался к нему прорваться, но министр его не принял, как бы давая понять: решайте без меня. Я вызвал Крылова к себе, спрашиваю: «Что будем делать, Сергей Михайлович?» Кроме меня в кабинете находился начальник отдела кадров генерал Дроздецкий. Надо отметить, что Крылов вел себя очень нервно. Мне он сказал, что готов расстаться с этой должностью, но просил оставить его в академии преподавателем; я говорю: «Хорошо, вернется министр, решит все вопросы». Крылов вышел из моего кабинета, поехал в Академию, где в этот момент проводилось торжественное собрание, посвященное очередной годовщине со дня рождения Ленина, прошел через весь зал и передал генералу Варламову, который вел собрание, записку, что он хотел бы попрощаться со знаменем Академии. Одним словом, бред какой-то.

Варламов почувствовал что-то несуразное, быстро закончил собрание — но в этот момент Крылов уходит в свой кабинет, закрывается на ключ, и там раздается выстрел.

Мне тут же позвонили домой. Из МВД туда были направлены генералы Дроздецкий и Заботин, заместитель министра, а из Прокуратуры поехал то ли уже знакомый нам Каракозов, то ли еще кто-то. Я думаю, самоубийство — продуманный шаг со

стороны Крылова, тем более, что после его смерти вскрылись еще и амурные дела…

* * *

… Я никогда не собирался менять работу и уйти из МВД. Правда, иногда, особенно в последние годы, когда работы было много, у меня не раз появлялось желание бросить все, прийти в отдел адморганов ЦК, сказать: «Все, больше не могу, переведите куда-нибудь «на гражданку»». Галина Леонидовна, которая видела, как я устаю, иной раз тоже советовала сделать это. Но меня никто бы не отпустил. Однажды покойный Гречко (я еще был начальником Политуправления внутренних войск) предложил мне перейти в Министерство обороны заместителем начальника Главного политического управления Советской армии. Не знаю, серьезно ли ставился вопрос со стороны маршала Гречко, он говорил со мной при Леониде Ильиче — мы Леонида Ильича то ли встречали, то ли провожали, сейчас не помню, — но Леонид Ильич сказал: «Не надо, пусть работает на этом месте».

В силу своего характера Щелоков ни за что не отдал бы под контроль кого-то из своих замов вопросы первостепенной важности. Он старался все держать в своих руках. Но у меня как у первого заместителя министра тоже были достаточно серьезные участки работы: кадры, Восьмое специальное управление (и сейчас еще рано говорить, чем оно занимается), политико-воспитательная работа, Пятое главное управление, отвечающее за места лишения свободы, управление учебных заведений — в общем, ломти были такие, что дай-то бог! Мой рабочий день постоянно удлинялся.

Видя, как я «вкалываю», Щелоков лучше относиться ко мне не стал, он просто упорядочил свой рабочий день, заметно его сократив. Подтекст был такой: ты молод, работай, ничего с тобой не случится. Да и какой ему был смысл сидеть на работе, если я все равно допоздна нахожусь у себя в кабинете. Честное слово, если бы кто-то из членов Коллегии взял на себя ответственность в качестве основного заместителя министра, то я бы первый пожал ему руку. Среди моих коллег были люди и достойнее, и умнее меня — тот же Иван Тимофеевич Богатырев, например, очень солидный человек; или, скажем, Борис Васильевич Заботой — он пришел в МВД из аппарата ЦК, но быстро стал настоящим профессионалом. А Петр Александрович Олейник, не знаю, жив он или нет, — Олейник вел уголовный розыск, до переезда в Москву работал на Украине, где тоже вел этот участок работы.

Прошло время, и уже где-то в конце 70-х годов в МВД на должности начальников управлений, начальников главков пришли новые, молодые руководители, на них было любо-дорого посмотреть. Скажем, сейчас заместителем министра работает Иван Федорович Шилов, я его хорошо знаю еще по тем годам, когда он служил начальником УВД Приморского крайисполкома. Когда министром внутренних дел стал Федорчук, я рекомендовал Шилова на должность начальника уголовного розыска страны, его перевели в Москву. В отличие от многих работников МВД Шилов никогда не стеснялся и не боялся Федорчука, смело высказывал свою точку зрения на его работу, за что и поплатился. Федорчук освободил его от должности и назначил начальником УВД Московской области. На этом посту Иван Федорович опять горячо берется за работу, потом через три года, когда Федорчука отправили на пенсию, Шилов снова приходит в центральный аппарат, но уже заместителем нового министра Власова.

Конечно, были у нас и такие члены Коллегии, которые, как говорят, «и нашим — и вашим», но, в общем, команда оказалась хорошая, мы уважали друг друга, даже иногда встречались семьями, но в разумных рамках. Эти люди были старше и опытнее меня, я прислушивался к их советам, но когда нужно было принимать какое-то решение, всю ответственность часто приходилось брать на себя.

В силу своих должностных обязанностей я курировал Москву и область. С легкой руки Б.Н. Ельцина сейчас все ругают Виктора Васильевича Гришина за то, что он якобы запустил в Москве все дела и работал из рук вон плохо. Не знаю, как в других отраслях, но я лично никогда бы не упрекнул Гришина за то, что Москва давала слишком большой рост преступности. Да, начальником управления торговли столицы был такой человек, как Трегубов. Но мне думается, а не слишком ли много мы шумим вокруг его преступлений, не раздуваем ли их?

* * *

Все началось со статьи в «Огоньке», где журналист Дмитрий Лиханов опубликовал большую, полную сенсаций статью о «мафии» в Москве, которая, как спрут, опутала все слои государственного аппарата. Если бы спустя год тот же Лиханов в том же «Огоньке» не написал о Чурбанове, то я бы, наверное, в чем-то еще мог ему поверить. А так трудно.

Лиханов опубликовал тогда о Чурбанове целую серию материалов. На что рассчитывал «Огонек», какими материалами

располагал Лиханов, сказать не могу, но цель была достигнута — они взбудоражили общественное мнение. И вот я думаю: а не «раздули» ли мы и «дело Трегубова»? Никто не отрицает, никто не сбрасывает со счетов его преступления. Но если даже такой авторитет, как нынешний первый заместитель Председателя КГБ СССР Филипп Денисович Бобков говорит в своих интервью, что сейчас КГБ ведет по стране около двухсот дел по спекуляции и коррупции — и среди них (это только что повторил в заявлении по телевидению и Председатель КГБ СССР Крючков) «поистине миллиардные дела»; то почему же мы не знаем, кто эти люди, на каких должностях они работали, а говорим до сих пор только о Трегубове? Кстати говоря, «дело Трегубова» тоже вел КГБ СССР, но это было при Андропове.

КГБ вообще очень часто помогал нам, и я считаю, что между КГБ и МВД должно быть полное взаимодействие, честное и открытое. А награды уже потом можно будет разделить — кому больше, кому меньше. Если вся служба органов КГБ и МВД направлена на безопасность народа, то эту цель можно, по-моему, только приветствовать.

Кстати, Щелоков никогда не представлял сотрудников МВД к боевым орденам и медалям без согласования с отделом адморганов ЦК. Таких прав у него не было. И награждались у нас не только генералы, а прежде всего — милиционеры, сержанты и офицеры. Да и генерал, ведь это тот же вчерашний солдат, который прошел в МВД по всем должностным ступенькам. Правильно говорил известный писатель — генералами не рождаются.

* * *

Многие читатели помнят, наверное, нашумевшую статью в «Огоньке» о том, как на станции метро «Новослободская» в Москве пьяные милиционеры зверски убили одного из пассажиров, майора КГБ. Этот трагический случай действительно имел место. Преступники были тут же найдены, мы ничего не скрывали, вопреки утверждениям того же «Огонька», информация тут же пошла в ЦК КПСС. Как только руководство министерства узнало, что эти милиционеры буквально зверски добивали майора КГБ, было принято решение передать следствие органам КГБ с соответствующим контролем со стороны Прокуратуры СССР. Повторяю, мы и не думали защищать «честь мундира».

К сожалению, такие случаи происходили в милиции время от времени, но все-таки не часто. Как-то раз в одной из

командировок я поздно ночью зашел в районный отдел милиции. Картина была такая: половина сотрудников, находящихся на дежурстве, что называется «лыко не вязали». Пришлось срочно наводить порядок. Пьянство и тогда процветало среди рядового состава милиционеров, не повальное, конечно, но все-таки — многочисленное. По всем этим инцидентам принимались самые строгие меры — вплоть до увольнения из органов и возбуждения уголовных дел. Пьяный милиционер — это ходячий преступник, вооруженный преступник; конечно, кадры рядового состава у нас оставляли желать лучшего, особенно среди милицейской молодежи; не все «посланцы» трудовых коллективов, приходившие на работу в органы по комсомольским путевкам, шли сюда именно работать. За громкой фразой, за иронично-добрым напутствием этих же самых коллективов скрывалось то, что все знали и так: «сплавляя» людей в милицию, трудовые коллективы, по существу, освобождались от разгильдяев, прогульщиков и пьяниц.

Если внимательно посмотреть и проанализировать состав московской милиции, то ведь она (если опять же говорить о ее низовом аппарате) почти целиком и полностью состояла из «лимиты», как говорили в народе. Накануне демобилизации в части Московского военного округа выезжали наши кадровики-вербовщики и за какие-то «коврижки» — прописка, квартира — вербовали в московскую краснознаменную милицию. Чаще всего у людей, которых они брали на работу, не было за душой по отношению к Москве и москвичам ничего святого. Они устраивались, прописывались, приобретали жилье, а после этого всеми правдами и неправдами старались сделать какой-нибудь некрасивый поступок, чтобы «вылететь» из органов. Дискредитировали себя, но и, конечно, в первую очередь — дискредитировали милицию. Конечно, мы набирали «лимиту» и «посланцев трудовых коллективов» не от хорошей жизни, другими словами — не хватало денег, в этом плане у нас не было как воздух необходимых нам государственных решений. Но самое главное, мы как огня чурались опыта западных стран, не изучали его, исходя из того, что «даже в области балета мы впереди планеты всей». Ох, как подводило нас это самомнение! Понять бы раньше, что нам не грех бы поучиться даже у своих идейных противников…

Члены Коллегии не раз говорили Щелокову что нам пора освобождаться от каких-то стереотипов, думать о будущем. Да он и без нас все понимал. Но ведь в Политбюро были такие люди как Суслов, и он, наверное, просто не хотел рисковать.

Находясь уже здесь, в колонии, я дал интервью

единственному журналу — «Театральная жизнь», его быстро перепечатали десятки разных изданий, известных мне и не известных, в том числе и новый, весьма солидный журнал «Родина». Здесь с комментарием к моему интервью выступил журналист Ю. Феофанов.

Личность этого человека, в свое время со страниц «Известий» громившего Даниэля и Синявского, хорошо известна, но меня волнует, конечно, другое. Феофанов обрушился на меня за то, что я не докладывал Брежневу о состоянии мест заключения. А почему, собственно, я должен был что-то докладывать Брежневу, когда у меня есть непосредственный начальник — министр! И при чем тут Брежнев? Если уж на то пошло, то мы, скажем, делали все для укрепления режима содержания в колониях и хорошо его укрепили, по себе теперь сужу… И на бытовое содержание заключенных обращалось самое пристальное внимание.

А вот как научить администрацию колонии уважительному отношению к человеку — независимо от того, в какой «робе» он находится, стриженый он или нет, какой режим, строгий или обычный, определил ему суд? Нельзя, по-моему, унижать человеческое достоинство. Заключенный — это заключенный. Каким бы подонком он ни был, с каким бы ни пришел составом преступления сюда, в колонию, — этот человек лишь временно изолирован от общества, он еще вернется в жизнь, и с этим — нужно считаться. Многие высокие начальники, приезжавшие сюда, в колонию, не находили для себя зазорным подглядывать в щелочку, как зэк Чурбанов «клепает» креманку. Ну, куда это годится? Разве так можно себя вести?

* * *

К сожалению, есть еще одна тема, которую нельзя обойти стороной. Все знают, что в 70-е годы МВД иногда прибегало к услугам «стукачей» и «доносчиков». Они назывались «добровольные помощники милиции». Большой была ли эта «армия», я не знаю, она ведь подсчету не подлежит, но то, что оперативные службы милиции такими услугами пользовались, это так. Да и глупо было бы не пользоваться. А сколько здесь, в колонии, этих самых «добровольцев-народовольцев»! Не знаешь, с какой стороны тебя — сегодня или завтра — «с потрохами» заложат и выдадут! Вот они, «добровольцы»! А там у них были свои «добровольцы». Такие же, как они сейчас. Я думаю, что реальная помощь от этой братии делится так: из тысячи —

единицы, а из сотни тысяч — десятки. Льгот у этих «добровольцев» не было никаких, но в бюджете органов существовала (не знаю, как сейчас) специальная статья расходов на всю эту компанию — чтобы приплачивать. Статья большая, но в полном объеме мы никогда ее не расходовали, потому что если уж платить, то за дело, а среди этих «добровольцев» всегда было полным-полно всякой шантрапы.

При Щелокове в аппарате МВД «стукачества» почти никогда не было, а вот когда пришел Федорчук, то появилось. Откуда он принес с собой этот рассадник, где, на какой работе он его приобрел — сказать трудно. Но, наверное, не в КГБ. Когда он пришел к нам (до назначения министром внутренних дел Федорчук полгода возглавлял КГБ СССР), в аппарате МВД все между собой перессорились и смотрели друг на друга уже с плохо скрываемым недоверием. Готовились заказные анонимки! То есть были люди, которые по указке нового министра писали анонимки на не угодных ему лиц. А кто были эти люди? Трезво мыслящие офицеры и генералы, которые имели собственную точку зрения и умели отстаивать свои позиции. С ними Федорчук и расправился. Потом, когда уже Федорчука сменил на этом посту Александр Владимирович Власов (тоже, кстати, проработавший в МВД недолго), на одном из партийных активов об этом и было сказано. Ну, уж куда лучше-то?

Борясь с «коррупцией» Щелокова в МВД, Федорчук, недолго думая, разогнал наши лучшие кадры; начальники горрайорганов в возрасте 40–45 лет чуть ли не в 24 часа изгонялись со службы, и рука Федорчука, подписывавшего им «приговоры» в виде должностных приказов, при этом не дрожала. Уже здесь, в колонии, я читал статью бывшего работника управления кадров МВД СССР генерала Голустяна — интересный и образованный человек; кстати говоря, Гдлян тоже замышлял что-то против него, но, славу богу, ничего не получилось. Так вот, Голустян пишет, что Власов вернул на работу в МВД более двух тысяч старших офицеров! А ведь среди тех, с кем расправлялся Федорчук, были и такие люди, которые не выдерживали, получали инфаркты, кончали жизнь самоубийством, не в силах пережить позор и «опалу».

По-моему, Федорчук никогда не думал — не гадал, что он станет министром внутренних дел. Федорчук долго работал Председателем КГБ Украины, и вдруг после избрания Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС именно он становится Председателем КГБ СССР. Для меня это так и осталось загадкой. Почему после Андропова Председателем становится не умный и опытный Чебриков, который был его заместителем, не умный и

опытный Крючков, или другой зам, а Федорчук? Если верить слухам, то Чебрикову он даже объявил взыскание. Будучи человеком самолюбивым и легкоранимым, Федорчук так и не пришелся ко двору в КГБ и его «перебросили» к нам.

Когда он был на Украине, я его не знал, познакомился с ним, когда он возглавил КГБ, один или два раза бывал у него в кабинете.

Я уже говорил, что по ряду вопросов КГБ и МВД работали вместе. Один из них — это взаимодействие МВД и КГБ на случай массовых беспорядков. Был разработан соответствующий план, он подписывался руководителями этих ведомств.

Так вот, Федорчук мне сразу не понравился. Помню, был дан небольшой ужин в честь какой-то иностранной делегации, за столом всего 6–8 человек, тем не менее, свой тост Федорчук читал по бумажке. А что, так нельзя сказать, что ли? Если современный и образованный генерал армии не может оторваться от бумажки и через слово говорит «так сказать»… Тут, что называется, все ясно.

Вот еще один пример того, как Федорчук обходился с кадрами. Как-то раз он вызывает меня к себе и говорит, что мне нужно срочно съездить в Свердловск, переговорить с Ельциным — первым секретарем обкома, и уволить генерала Князева, начальника Свердловского УВД. За что? Я считал, что увольнять Князева было бессмысленно, он хорошо работал, был сравнительно молод и я — не скрою — питал к нему человеческие симпатии. Приехав в Свердловск, я сказал Ельцину: «Борис Николаевич, вот такое нехорошее у меня поручение и мой долг сразу поставить вас об этом в известность». И добавил от себя, что я не разделяю решение министра. Борис Николаевич отреагировал очень бурно и сказал: «Если Федорчук хочет, то мы сейчас же соберем бюро обкома партии, примем решение и Князева оставим; бюро обкома партии претензий к Князеву не имеет». И такое бюро было собрано. Не знаю, посылался ли его протокол Федорчуку, может быть, нет, но решение бюро было твердым и решительным. Передав все это Федорчуку, я вызвал у него гнев. Он тут же сказал мне, что с поручением я не справился. В ответ я сказал Федорчуку, что больше я такие поручения выполнять не буду, повернулся и пошел. Сохранили мы человека. Уже когда я не работал в органах, Князев был назначен министром внутренних дел Казахстана, здесь, в колонии, я слышал от зэков, что он получил генерал-лейтенанта…

Федорчук был министром три года, Власов тоже что-то вроде этого, потом министром стал Бакатин, и, по-моему, даже трех лет не прошло, как его сменил Пуго.

Прибавилось работы у МВД в связи с перестройкой.

* * *

И опять приходится возвращаться к нашим современным оценкам 70-х годов. Я думаю, если кто-то скажет сегодня хотя бы одно доброе слово о милиции тех лет со страниц газет и журналов, то общественное мнение, уже хорошо подготовленное, еще расценит это доброе слово как «выпад» против сегодняшнего дня, против перестройки. Из одной крайности нас все время кидает в другую крайность, может быть, даже более опасную. Никаких «выпадов» я делать не собираюсь.

К советской власти я всегда относился с уважением. И к партии — тоже. Независимо от того, в какой я был ситуации. Даже в стенах колонии. Уважительное отношение к советскому человеку, к партии коммунистов и государству у меня не изменится.

Но давайте посмотрим на вещи спокойно и объективно. Совсем недавно стало известно, что в Москве среди бела дня из специального автомобиля, который перевозит особо опасных преступников, убежали восемь рецидивистов, а перед побегом эти рецидивисты неоднократно распивали вино вместе со своей охраной. Такое возможно? Да. Это такое сверх ЧП, что мне и сказать нечего… За все 70-80-е годы ничего подобного у нас не было и быть не могло. Я даже не знаю, как это все объяснить: то ли разложением солдата, то ли… преступники уже настолько обнаглели, что они просто диктуют свою волю охране; только такие «сделки» сиюминутно не возникают, тут, конечно, зэки провели свою определенную работу. Неподготовленный читатель может и без меня догадаться, что спецавтомобиль, в котором перевозят уголовников, оборудован всеми надежными и необходимыми средствами. Он не имеет права отклоняться от маршрута. От тюрьмы до здания суда по всей трассе с автомобилем поддерживается непрерывная связь. Как этот автомобиль мог куда-то свернуть? Как он оказался в подворотне? Как могло случиться, что солдат с портфелем беспрепятственно — в форме! — вошел в магазин, и услужливая толпа тут же предложила ему без всякой очереди приобрести спиртное?

В голове не укладывается.

А зэки, бежавшие на рейсовом самолете ТУ-154 в Пакистан? Вот типичная картина современной расхлябанности. Когда мне уже отсюда, из колонии, было нужно лететь в Ташкент, чтобы выступить на суде по делу бывшего первого секретаря

Навоийского обкома партии Есина, так меня одного в самолете везли восемь человек охраны (я еще об этом скажу). А тут что было? Странные вещи происходят сегодня.

Слава Богу, что на годы «застоя» это все уже не спишешь… А ведь у нас сегодня так принято: если бардак, если люди утратили чувство ответственности за свое дело, значит «корни этого безобразия — в «застойных» временах». Почему? Кстати, уже восемь лет прошло, как нет с нами Леонида Ильича…

Я лишь изредка принимал *участие* в иностранных переговорах и только — с министрами внутренних дел социалистических стран. Был во Вьетнаме. Встречался с Кастро на Кубе. Никто и никогда, к слову, не разубедит меня в том, что Кастро — прекрасный и мужественный человек, действительно, кубинский лидер, фанатик социалистической революции. Такого же мнения был и Леонид Ильич.

Кастро буквально начинен бунтарским революционным духом. Леониду Ильичу это очень нравилось. Мне доводилось не раз и не два бывать на Кубе, я видел, что кубинцы уважительно относятся к Советскому Союзу. МВД СССР от всей души, другого слова я просто не подберу, помогал органам внутренних дел острова Свободы. В то время (да и сейчас, я думаю, тоже) для Кубы, для продолжения кубинской революции ничего нельзя жалеть. И упрекать сейчас Кубу какими-то долгами, которые у них есть на «лицевом счету», по крайней мере — не солидно. Тем более такой стране как наша. Больше того, я думаю, что не нужно публиковать эти цифры в «Аргументах и фактах». У меня в таких случаях возникает только один вопрос: а зачем мы все это делаем? Во имя чего? С кем еще нам нужно поссориться?

Мы ничего для кубинцев не жалели — ни своей материально-технической базы, ни своих кадров. С годами Кастро мужал и как политик, и как человек. Было очень интересно наблюдать его в «неофициальной», как говорят дипломаты, обстановке. Однажды он и его брат Рауль Кастро пригласили меня и Галину Леонидовну на рыбалку. Кастро знал, что я люблю охоту (а он и сам заядлый охотник). Рыбалка обещала быть очень интересной.

На Кубе водится такая рыба — барракуда, кубинцы ее хорошо знают. Это хищная и ядовитая рыба, она съедобна только в определенное время года, кажется, в январе. И январь — это единственный месяц, когда она ловится. Но ни о каком спиннинге или удочке тут не может быть и речи — это большая рыбина, похожая на акулу, с двумя рядами мощных зубов. И ловили мы барракуду с военного торпедного катера. Довольно сильно штормило, но никто не обращал на это внимание; моряки спустили в воду тонкий трос с большим крючком-тройником и

хорошим ломтем мяса. Эта огромная живая «торпеда» сразу устремилась за мясом, схватила его, трос натянулся, катер стал медленно тормозить, а кубинские моряки — резко вытаскивать трос. Вот она, типичная кубинская рыбалка.

Еще помню — это было уже в другой наш приезд на Кубу — как Кастро прислал нам на ужин несколько уток, подстреленных им на охоте. Удивительный все-таки он человек! На приеме Кастро мог целый вечер простоять с небольшим стаканчиком виски, почти не прикасаясь к нему, но с сигарой почти не расставался, и пепел от сигары почти всегда был на его военном мундире. Он хорошо знал проблемы кубинской милиции и помогал органам внутренних дел во всех отношениях. Очень жаль, что сегодня некоторые наши средства массовой информации позволяют себе говорить о Кастро чуть ли не как о втором Чаушеску. Нет, это разные люди. Настолько разные, что ставить их имена рядом неправомерно. Для Кастро такие «параллели» — это просто оскорбление.

* * *

Иногда я спрашиваю себя, если я бы работал сейчас, был бы, допустим, первым «замом», как бы я вел себя? Каких бы ошибок не сделал. Что изменил? Чему научила меня жизнь?

Самое главное — не слишком бы доверял угодникам и подхалимам, пристальнее бы всматривался в людей и обязательно удалял бы от себя тех, кому нельзя доверять в полном объеме.

Вот это, пожалуй, самое важное. И уж никак не жалел бы, что в начале 60-х я связал себя с органами. Конечно, я многому в жизни не научился, многое не взял у нее, где-то, наверное, не хватало глубокого самоанализа, оценки своей деятельности, все так. Здесь, в колонии, я пережил серьезную переоценку ценностей. Вот почему я пишу эти заметки. Не знаю, нужны они кому-нибудь или нет, дойдут ли до читателя и как их встретит общественность. Впрочем (как говорили древние), что будет утром, одному Богу известно. То, что за этой моей исповедью может последовать возмездие, я не исключаю, причем результат может быть непредсказуемым. Наверное, и здесь, в колонии, Чурбанов становится неудобным человеком, но пока я жив, нужно бороться.

8

О том, что за мной следят, я чувствовал спиной.

Федорчук пришел в министерство где-то в конце 1983-го *(на самом деле — в декабре 1982 г.***-прим, изд.):** сначала у меня отобрали работу с кадрами, на нее из КГБ был приглашен Лежепеков, потом «отрезали» еще какие-то «участки»; а окончательно освободили меня по записке Федорчука (адресованной, судя по всему, Политбюро) в середине 1985-го и назначили заместителем начальника Главного управления внутренних войск МВД СССР. Здесь я должен был курировать военно-научную работу в войсках. А какая наука может быть во внутренних войсках? В общем — ничего интересного.

Пришел Власов, я пытался с ним встретиться и поговорить, но он меня так и не принял — не исключаю, что Александр Владимирович уже тогда был в курсе всех надвигавшихся событий. А через несколько месяцев меня вообще отправили на пенсию, учитывая общую выслугу лет.

Вот тут-то я и почувствовал наружное наблюдение.

Я еще не знал Гдляна и Иванова, а они уже знали каждый мой шаг… А потом началось… «Наконец-то мы на тебе отоспимся», — говорил Гдлян. Перекрестный допрос, должен сказать, страшная штука. Четыре следователя — а ты, загнанный в угол, не знаешь, что отвечать, говоришь невпопад под этим жестким прессом, ироничными улыбками, взглядами — они еще и словечками перебрасываются между собой…

Эти имена — Гдлян и Иванов — до середины 80-х годов вообще никому не были известны. Кто их знал? Гдлян работал следователем по особо важным делам в Ульяновской области, а Иванов — то ли в Мурманске, то ли в Челябинске, где-то там. Они были приглашены в Прокуратуру СССР в качестве приватных следователей: Герман Петрович Каракозов укреплял свой аппарат.

Чтобы удержаться на работе в Москве, Гдляну и Иванову нужно было как можно ярче проявить себя. Тут и выплыло на свет дело, названное «узбекско-кремлевским». Вот на нем они и кинулись делать себе карьеру. Гдлян и Иванов были как те самые шампиньоны, которые пробивают асфальт, чтобы дотянуться до солнца. Проявив недюжинные авантюристические способности и быстро раскусив все слабые черты узбеков из рашидовского окружения, Гдлян и Иванов действительно нашли для себя «золотую жилу». А самое главное — изменилось время, началась перестройка. Чтобы доказать государственную важность

собственной следовательской работы, Гдлян и Иванов стали забираться все выше и выше: теперь их, прежде всего, волновал верхний эшелон республиканской власти. Только так они могли убить сразу двух зайцев: во-первых, доказать свою абсолютную верность делу перестройки, а во-вторых, раздуть свою «операцию» до такого уровня, чтобы заслужить внимание и поддержку в ЦК КПСС.

И в ЦК КПСС им, видимо, поверили. Тот же Гдлян ничего не скрывал и хвалился, что его инструктирует чуть ли не сам Горбачев, что они постоянно бывают в «Большом доме» (так в просторечии называется здание ЦК КПСС), что-то там кому-то докладывают и получают новые указания. Он все время ссылался на «Большой дом», все время. То и дело твердил про «самый верх». Во время этой бравады его лицо прямо-таки светилось от счастья: подумать только, никому не известный следователь, полжизни проработавший в Ульяновской области, сегодня допущен к «парадному подъезду», принят там, получает указания и сам дает советы.

Совершенно разные по складу характера, но оба упрямые в достижении главной цели, Гдлян и Иванов быстро нашли общий язык. Иванов во всем копировал Гдляна, подражая ему в мелочах до смешного. Даже свои сигареты во время допроса Иванов всегда клал на батарею, точь-в-точь как Гдлян — чтобы «прожарить», как он выражался. Имя Гдляна в Прокуратуре было у всех на устах — как следователя, умеющего добывать любые показания. Даже Каракозов в какой-то мере побаивался Гдляна. Каракозов мне в глаза говорил, что Гдлян и Иванов — паскудные люди, хотя я-то думаю, честно говоря, что это он так, ради красного словца. Сейчас Герман Петрович занимает, конечно, антигдляновские позиции. Уже после того, как «узбекско-кремлевское» дело окончательно рассыпалось, я слышал по радио его интервью о Гдляне и Иванове. Как он только их не «прикладывал»! Перестроился Герман Петрович. Быстро перестроился…

Но в ту пору он был их начальником — и не только номинально. О Гдляне и Иванове сейчас пишут во всех газетах, иногда в них же мелькает Миртов, но о Каракозове нет ни слова, о нем мало кто знает, он остался в тени. Жаль, что это так. Именно Герман Петрович Каракозов, начальник следственной части Прокуратуры СССР, как я уже говорил, был не только их прямым начальником, но и мощным «идейным» руководителем. В органах МВД он никогда не работал, по службе я с ним не сталкивался и не помню, чтобы я видел его на каких-то больших совещаниях, хотя Каракозов на допросах мне об этом как-то раз напомнил.

Страшный человек — Каракозов. Не страшнее, впрочем, чем другие, но очень коварный. Когда Каракозов в прокурорском кресле — он ведет себя с чувством превосходства. Но по ходу следствия Каракозов мгновенно перестраивался, быстро менял свою тактику: то он вдруг становился ласковым, проникновенным, сочувствующим, то вдруг начинал «хулиганить» — грозил, шантажировал, пугал, даже срывался на крик; все зависело от того, чего он добивался, в какую «игру» он играл в этот конкретный день.

Что мне обещал Каракозов? Много чего. В случае признания вины в полном объеме и выдачи всех несуществующих драгоценностей — государственное… назовем это так… или прокурорское снисхождение. Обещал не усиленный режим, а общий, говорил, что меня отправят в колонию, куда-нибудь в Подмосковье, ну и т. д. Как-то раз я не выдержал, говорю: «Герман Петрович, вы меня за идиота считаете? Это ведь не вы решаете, а суд». Он тут же отвечает: «Прокуратура всесильна». Вот так мы разговаривали…

Гдлян и Иванов работали медленно, «клиентура» у них была «широкая». Честно говоря, я думаю, что, когда Гдлян и Иванов только-только начинали знакомиться с положением в Узбекистане, они работали достаточно добросовестно, и действительно находили какие-то клады, раскрывали взятки. Но их безудержная тяга к позерству сказалась уже здесь почти сразу.

Ну, зачем, спрашивается, нужно было позировать в бронежилетах, как это делали Гдлян и Иванов, когда они арестовывали какого-то пастуха? Или, скажем, спускаться на боевых вертолетах в пустыню, чтобы «приступом» взять какую-то там… кибитку? Не могли Гдлян и Иванов без этого, уже не могли! А потом их и потянуло: Чурбанов, Кунаев, Щербицкий, Лигачев, Соломенцев, Рекунков, Сухарев и, наконец, Горбачев. Вот кто — со временем — стал их «клиентурой».

Интересная деталь: Гдлян и Иванов всюду, где они только могли, твердили, что на них неоднократно совершались покушения. В «Огоньке» писали, что самолет, на котором летел Гдлян, натыкался на протянутый стальной трос, что в постель Гдляну подкладывали кобру и еще что-то в этом духе. Мой адвокат Андрей Макаров прямо спросил в суде государственного обвинителя Сбоева об этих покушениях. Ничего кроме смеха в зале суда это не вызвало.

Даже намека на покушение не было.

Когда шли допросы, у меня появилось только одно желание: побыстрее освободиться от Гдляна, Иванова и Каракозова, вернуться в камеру и обратиться за медицинской помощью. На

протяжении всего следствия я пользовался услугами врачей. Вечером уколами приводили давление и сердце в норму, я засыпал, нашприцованный всякими лекарствами; утром — давление опять начинало барахлить… сердечный спазм… Тогда делали какие-то инъекции — и опять на допрос.

Обычно допросы длились по восемь часов, без перерыва, только на обед конвой отведет, и тут же обратно, к следователям — их-то было много, им хватало времени для передышки. Естественно, находясь в таком состоянии, я просто не имел возможности, да и большого желания, внимательно прочитать и осмыслить все, что было написано следователем в протоколах допросов или моей рукой под их диктовку. Силы позволяли мне выполнить только формальную сторону этого дела — поставить под протоколами свою подпись.

После допросов, проведенных с применением психологического воздействия, я только с 14 по 22 января 1987 года, то есть в первые дни после ареста, оговорил — не без помощи Гдляна и Иванова — свыше ста двадцати человек, большинство из которых к моему делу не имеют никакого отношения. Все это были честные и порядочные люди, с хорошей гражданской и партийной репутацией в обществе. Как-то раз Гдлян, который был сильно возбужден, бросил такую фразу: «Если бы вы не заговорили сразу, не дали бы показаний, я не знаю, что бы я с вами сделал». Гдлян обещал отправить меня в «Бутырку», к гомосексуалистам. Вот этот день я тоже никогда не забуду…

Следствие в отношении меня велось явно с обвинительным уклоном, никто из следователей просто не собирался выслушивать мои объяснения по тем или иным позициям. У этих людей была только одна задача: сделать так, чтобы я подтвердил фамилии людей, которые мне якобы передавали деньги и ценности, и вернул — в добровольном порядке — свыше миллиона рублей. Гдлян и Иванов сами называли фамилии «нужных» следствию людей, большинство из которых я слышал впервые. Я не был знаком с этими людьми и никогда с ними не встречался. Гдлян требовал от меня признания в получении взяток на миллион. Однажды на одном из допросов он сказал: «Будете упорствовать, мы применим к вам драконовские меры». Я хорошо знаю, что это такое. Я хорошо знаю эту систему. Я знаю, как у нас… расправляются… с людьми. И вот тут я сломался.

В конце концов, у меня случился острый сердечный приступ. Лекарства уже не действовали, я успел запомнить испуганные лица тюремного врача и медсестер; в ход пошли кислородные подушки и меня… то ли ночью, то ли рано утром на машине

реанимации отправили в одну из московских больниц. Она, правда, незакрытая, но наш брат — арестант — держался в закрытом помещении под охраной двух прапорщиков: вот там в течение десяти дней меня приводили в чувство.

Я просил у Гдляна и Иванова: «Дайте мне хотя бы день отдыха, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями… куда я от вас денусь». Нет. Незачем! Они били прямо по-живому. Потому, чтобы они хоть на время отстали от меня, я говорю: «Хорошо, дайте мне бумагу, я вам нарисую план дачи и покажу, где зарыт клад». Этот «ход» мне невольно подсказал сам Гдлян, один из допросов он начал с того, что по его «сведениям» у меня на даче зарыто пятнадцать кейсов с деньгами и золотом.

В тот момент, пока они перекапывали мой дачный участок, я хоть чуть-чуть отдохнул, выиграл несколько нужных для здоровья дней. Разумеется, Гдлян и Иванов у меня на даче ничего не нашли. А потом пришлось писать опровержение Генеральному прокурору, в котором я сообщал, что все это, конечно, ложь, что я прошу оградить меня от Гдляна и Иванова, а также не заниматься кладоискательством. В конце этой бумаги я приписал: все, дескать, прощайте. Тут же примчался Каракозов: «Зачем вы написали это заявление, к чему эти угрозы?»; они решили, что я могу покончить с собой, — увели меня в спецкамеру, раздели, обыскали, вытащили шнурки, проверили носки и трусы, осмотрели всего (нет ли какой-нибудь «заточки», которую я спрятал, чтобы лишить себя жизни), выдали новую робу. Вот так. И я все время ходил в арестантской робе, в казенных ботинках, причем шнурки были разрезаны пополам, чтобы я не мог на этом шнурке удавиться. Только значительно позже мне разрешили надевать свою собственную одежду и спортивный костюм.

И снова пошел этот пресс… Я скажу так: ни в одной цивилизованной стране мира… даже с обычным человеком не делают того, что делали со мной, а уж с генерал-полковником — тем более. Для них не существовало: генерал — не генерал; а я тогда и звания лишен еще не был… Обращались как с последней сволочью.

По намекам Гдляна, Иванова и Каракозова я почти сразу понял, что меня ведут под расстрел. Да они и не скрывали ничего. Честно говоря, я думал, что смерть — это было бы не так уж плохо. По крайней мере, у моих близких было бы меньше забот.

Гдлян самыми непотребными словами ругал Леонида Ильича: маразматик, идиот и так далее. Он все время твердил, что теперь наступило «новое время». Вот так. Если бы это был культурный человек, то, находясь при исполнении служебных обязанностей,

он никогда не посмел бы оскорблять главу государства, тем более покойного, которому он сам, между прочим, *служил* половину своей жизни, что называется, «верой и правдой». Каракозов и Гдлян не скрывали, что судить будут не меня, что это будет процесс над бывшим Генеральным секретарем ЦК КПСС, над его памятью. Вот этому и было все подчинено. Гдлян откровенничал: «Если бы вы не были зятем, вы бы нас не интересовали». Каракозов говорил то же самое.

Я уже тогда понимал, что при определенном политическом раскладе Гдлян, не задумываясь, предаст и Горбачева, подберет и для него какую-нибудь «статью». Так и вышло. Что он, что Иванов — это оборотни… самые настоящие. Я как-то сказал Гдляну: «Тельман Хоренович, вы бы в 37-м преуспели, у вас не одна награда сверкала бы на груди, и сколько было бы погубленных людей!» У него прямо бешенство сверкнуло в глазах, он мог меня просто разорвать на части… Не понравилось.

Теперь он верно служит — с узбекскими деньгами — армянскому народу…

А «взятки», которые они мне приписывали, рассыпались сами собой. По «кремлевско-узбекскому делу», к которому меня «пристегнули», проходили генералы Яхъяев, Норов, Норбутаев, Джамалов, Сатаров, Сабиров и полковник Бегельман — все они занимали высокие должностные посты в органах внутренних дел Узбекистана. Гдлян и Иванов были уверены, что от каждого из них я получал взятки.

Скажем, Бегельман «признался», что он специально прилетел в московский аэропорт Домодедово, чтобы передать мне 240 тысяч рублей от бывшего министра внутренних дел Узбекской ССР Эргашева. На одном из первых же допросов Гдлян познакомил меня со складно написанными показаниями Бегельмана относительно всех подробностей этой взятки, и тут же сказал, что у меня нет ни малейших шансов «отвертеться». Если бы был жив Эргашев (он покончил с собой, прекрасно понимая, что ему не избежать участи арестованных генералов), мне было бы гораздо легче. Но Эргашев мертв. Что делать? Бегельман утверждал, что, получив от него взятку, я содействовал его назначению на должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана. Именно с этой целью он и прилетел на несколько часов в Домодедово, передал мне деньги и в этот же день улетел обратно в Ташкент.

Встал вопрос: как доказать, что Бегельман врет? Во-первых, так: какая мне разница, кого ЦК КП Узбекистана рекомендует в качестве заместителя министра? Я бы мог выдвигать какие-то требования только в том случае, если бы я действительно знал

Бегельмана, его человеческие качества и служебные достоинства. Но с Бегельманом я, слава богу, не был знаком.

Во-вторых, показания Бегельмана даже на первый взгляд были, мягко говоря, неубедительны. Кто же прилетает в Москву всего на два часа, как это может быть? Почему на два часа? Зачем мне было нужно встречаться с Бегельманом именно в аэропорту Домодедово? Там всегда люди, ясно, что это не самое удобное место для такого «интимного дела», как получение взятки. И вот, когда я заявил суду, что никакой встречи в аэропорту не было, то председатель суда генерал Мэров принял решение провести следственный эксперимент. По его поручению группа экспертов рассчитала время движения машины, время вылета самолета, на котором якобы прилетал в Москву Бегельман, — и тут стало ясно, что весь эпизод с дачей взятки в 240 тысяч рублей есть не что иное, как «липа». На прямой вопрос председателя суда Марова: «Бегельман, зачем вы врете?», сделанный в ходе открытого судебного заседания, Бегельману нечего было ответить. Он опустил голову. Бегельман еще не мог сказать, что он соврал, что Гдлян и Иванов, не появлявшиеся, кстати говоря, в зале судебного заседания, приезжали по вечерам к нему в камеру (да и не только к нему!), чтобы скорректировать их поведение в суде и дать новые инструкции. Разумеется, тут же им обещались определенные льготы. Гдлян и Иванов говорили Бегельману: «Верь нам, мы сделаем так, что из зала суда ты уйдешь прямо домой». А получилось, что за ложь «про Домодедово» судья Мэров, наоборот, добавил Бегельману два года и он получил не 6, а 8 лет; и пошел «не домой», а сюда, в Нижний Тагил. Бедный Бегельман!

Но я его не корю, я прекрасно понимаю, что там, «на воле», у него остались два сына, два офицера Советской Армии — один из них, кстати говоря, прошел через Афганистан. А когда с их отцом случилась беда, когда не выдержав позора, вся семья Бегельмана стала травиться, то и сыновья его оказались «в опале» и более двух лет не получали положенные им новые офицерские звания. Как это может быть? За что? Ребята добросовестно служат, претензий по работе нет. Ответ простой: их отец в тюрьме. А как же наш принцип «сын за отца не отвечает»? Нет ответа.

Когда приходится обращаться в санитарную часть, я иногда встречаю Бегельмана. Он сидит здесь же, в этой же колонии. Одно время мы были даже в одном отряде. Разумеется, никаких отношений между нами не было, даже не разговаривали. И вот как-то раз, кажется, в воскресенье, когда весь отряд ушел в кино, Бегельман подошел ко мне и принес свои извинения. Я видел: он мучается, ему стыдно — и вот, наконец, он решился.

Бегельман рассказал, как его «ломали». Он вспомнил все, что ему обещали «взамен» Гдлян и Иванов. Бегельман показал мне большую тетрадь, исписанную от начала до конца и сказал, что этот материал он готовит для Комиссии по проверке деятельности группы Гдляна и Иванова, которую возглавляет Рой Медведев. Он познакомил меня с тем, что там написано: среди прочего, на этих страницах подробно рассказывается, как Бегельмана заставляли дать на меня показания. Что я мог ответить Бегельману? Человеку уже за шестьдесят и он тяжело болен, по состоянию здоровья не может работать на производстве, потому и устроили его в санчасть.

Эргашев покончил жизнь самоубийством рано утром у себя дома. Тогда гдляновско-ивановские тучи стали сгущаться над его заместителем, генералом Давыдовым. Он тоже покончил с собой в госпитале, оставив предсмертное письмо. Вот этот документ:

«Горько и обидно, что неожиданно предложили уйти на пенсию — и сделано это в столь бесцеремонной, даже грубой форме. Сейчас, по-моему, стало легче оболгать ответственного работника, чем когда-либо; запачкают грязью, а потом отмывайся. И мне кажется, кто-то хочет оклеветать меня, взвалив на мои плечи грехи прежних руководителей, очернить безупречную работу в МВД в течение 16,5 лет. Ухожу честным работником МВД, коммунистом, генералом, отцом.

Уволили, никто со мной не переговорил, не высказал каких-либо обвинений или претензий. Неужели сейчас такая слепая и фанатичная вера каким-нибудь клеветникам? Неужели вот так, походя, можно жестоко оскорбить члена КПСС с 35-летним стажем, генерала? Ничего не могу понять, сердце — сплошная кровавая рана, веры и справедливости нет! Я вынужден сам принять крайнюю меру к сохранению своей чести и достоинства. А перед этим не лгут.

Г.И. Давыдов

16 мая 1985 г.»

Через полгода покончил с собой бывший начальник РОВД Ташкентской области Хаджимурадов Анвар. Он тоже оставил предсмертное письмо.

«Генеральному прокурору СССР

Рекункову А.М.

Первому секретарю ЦК КПСС Узбекистана

Усманходжаеву КБ. от Хаджимурадова А.Х.

Меня 23 и 24 декабря 1985 года к 9.30 пригласили в здание КГБ. Там был представитель Прокуратуры СССР Карташян и с ним еще один человек, я его не знаю. Они спросили меня о моей покойной матери и детях, потом стали душить и просили дать показания в

отношении бывшего начальника УВД Джамалова, как будто я дал ему взятку во время перевода с городского отдела милиции в Орджоникидзевский РОВД и ранее тоже. Я не вытерпел оскорблений, так как они говорили, что все узбеки бараны, басмачи и фашисты. Карташян также обзывал жену и дочку. Говорил: я изнасилую их, кроме того, плевал мне в лицо. Я не смог стерпеть и вынужден был дать ложные показания, как будто с 1984 года я каждый месяц давал Джамалову по 500 рублей. А откуда я взял? Я ответил, что каждый месяц я клал в сберкассу по 100–150 рублей и, кроме того, мой брат действительно держал и откармливал баранов, потом продавал, и из этих денег я тоже давал. Я знал, что меня арестуют и будут мучить. Но сами говорили — социалистическая законность, а где она? Когда кончатся оскорбления? Меня все знали, я работал днем и ночью, к сожалению, допускал ошибки, но сейчас, когда на меня столько кляуз, я не считаю это позором, мне только неудобно перед некоторыми людьми. Друзья, которые знают меня как честного человека, обижены, а кто враги — те довольны. Я себя оговорил. Пусть это знают и другие товарищи.

А. Хаджимурадов

24 декабря 1985 года, 14.40 дня».

При осмотре трупа Хаджимурадова кроме следов самоповешения судмерэкспертизой обнаружено: справа на уровне реберной дуги на общем участке 15 на 10 см имеются рассеянные кровоподтеки размером от 3 на 3 см, до 5 на 7 см желтоватого цвета. Между средними ключевыми и передними подмышечными линиями слева на общем участке 10 на 7 см есть кровоподтеки размером от 1 на 3 см до 3 на 3 см аналогичного характера. Они нанесены тупым предметом, давность — не более 3–4 суток.

Карташян — следователь из компании Гдляна и Иванова. За эту смерть никто не ответил.

Узбеки, которые сидят в этой же колонии, хорошо знали Эргашева. Они в один голос говорят, что Эргашев, конечно, был человеком очень сложного характера, может быть, в чем-то даже самодуром, но, по их мнению, он никаких взяток не брал. Что же касается Давыдова, его заместителя, то это вообще был кристально честный человек.

Конечно, Усманходжаев, который сменил Рашидова на посту Первого секретаря ЦК КП Узбекистана, был бы обязан, наверное, понять, что за волной самоубийств, вызванной деятельностью следственной группы Гдляна, кроются серьезные причины. Но Усманходжаев предпочитал не вмешиваться — лишь бы самому остаться целым и невредимым. За эту свою трусость Усманходжаев сам же и поплатился. Гдлян быстро добрался и до

него — кончилось тем, что Усманходжаев также оказался в Нижнем Тагиле.

Когда он с этапом прибыл сюда, в колонию, я его просто не узнал; помню, зашел я по каким-то делам в штаб (в этом здании кабинет начальника колонии и другие службы), в приемной сидели «новенькие», и один из них сразу со мной поздоровался. Я и не понял, что это Усманходжаев. Он — из породы тех людей, чьи лица быстро стираются из памяти. И то, что этот человек оставил о себе самое негативное мнение у узбекского народа, — закономерно.

Почему узбеки так быстро поддавались давлению со стороны следственных органов? В чем причина? На эту тему у меня был однажды разговор с бывшим прокурором Кашкадарьинской области, тоже осужденным — Халиковым. Этот человек был приговорен к высшей мере наказания, затем его поместили в зиндан (подвал тюрьмы); здесь он три с половиной года каждый день ждал, когда его расстреляют. Потом расстрел заменили на 15 лет, но как он не сошел с ума в этом подвале за три с половиной года, каждый день засыпая с мыслью, придут его расстреливать утром или нет, для меня загадка.

Сильным человеком оказался этот Халиков — кстати, до назначения прокурором он короткое время работал первым секретарем райкома партии. И вот я спросил его: «В чем же дело, почему узбеки так быстро «ломались»?» Халиков ответил, что Гдлян и Иванов хорошо изучили психологию узбеков, они быстро поняли, что в большинстве своем узбеки — очень доверчивые люди: сначала поддаются воздействию, быстро «ломаются» и дают те показания, которые из них «выбивают». Потом жалеют о сделанном, но поздно.

Ну, хорошо, а такая деталь: после того, как председатель суда генерал Мэров уличил Бегельмана во лжи, с меня «свалилось» 240 тысяч рублей. Почему не насторожился суд? Мой адвокат Андрей Макаров и другие адвокаты были за то, чтобы отправить дело на доследование; все видели, что это дело — сырое, рыхлое, с очевидными натяжками. Но суд вел себя как ни в чем не бывало.

Началось с полутора миллионов, в итоге за мной «осталось» только 90 тысяч рублей, но и тут суд не насторожился. Зачем, спрашивается, Гдлян «вышибал» из меня показания о том, что я якобы получил в подарок от первого секретаря Каракалпакского обкома партии Узбекистана Каллибека Камалова большое количество изделий из золота на гигантскую сумму? Ведь Гдлян прекрасно знал, что я никогда не встречался с этим человеком, не был с ним знаком; знал, но все равно стоял на своем.

Такие же — ложные — показания Гдлян «выбивал» из других

бывших узбекских руководителей, скажем — Айтмуратова, бывшего секретаря ЦК КП Узбекистана. Айтмуратова тоже хотели «привязать» к моему делу. Гдлян говорил ему, что если Айтмуратов не даст на меня показаний, то никто ему уже не поможет; так как Кремль заинтересован в том, чтобы я пошел под суд, что такие показания уже дали Камалов, Худай-бердыев — бывший Председатель Совета министров республики, Каримов и другие узбеки — почему же, в таком случае, Айтмуратов должен быть в стороне?

При этом сначала Гдлян, а потом Иванов рассказывали ему обо мне разные небылицы. Иванов даже говорил, что я ездил на охоту в Африку и имел личный самолет, — все это выдумки, разумеется. Доктор Айболит в Африке был, но не я. Кроме того, Иванов с большими преувеличениями рассказывал, как Чурбанова встречали в Узбекистане, говорил, что так здесь не встречали даже членов Политбюро. То есть Айтмуратов попал под жесткий пресс следователей, причем с их стороны в ход шли и откровенные провокации. Но Айтмуратов не дрогнул. Он категорически заявил, что никогда со мной не встречался и никаких взяток мне не давал.

«Иванов постоянно твердил, что Чурбанову «не отвертеться», что я должен помочь следствию, — так уже здесь, в нашей колонии, рассказывал мне Айтмуратов. — Иванов говорил, что Чурбанов сразу после ареста чистосердечно по всем признался, и очень хвалил Есина, Камалова, Худайбердыева за то, что все они покаялись и дали на него показания. Тот же Иванов говорил, что Есин, Худайбердыев теперь стали «своими людьми», друзьями следствия, и их помощь будет оценена по достоинству. Но от меня требовали дать показания и на Кунаева, тогда еще члена Политбюро. Следователь Пирцхалава говорил мне, что это поручение Гдляна. Но на Кунаева я свое согласие не дал».

А вот что Айтмуратов рассказал мне о своих родственниках: «Младший брат Айтмуратов Турганбай сдал группе Гдляна 74 тысячи рублей своих, заработанных трудом денег. Его мать — 80-летняя Пирманова Марьям — также сдала группе Гдляна свои личные сбережения на 17 тысяч рублей. Жена Айтмуратова, Фердоус, сдала Гдляну 45 тысяч рублей, заняв деньги у родственников, из них 15 тысяч принадлежали ее сыну и снохе. Потом родственники сдали еще 15 тысяч рублей».

Так образовались «взяточные» деньги. В феврале 1990 года Айтмуратов говорил об этом в Верховном Суде СССР. Но ему никто не поверил, и он получил 10 лет.

Когда мне дали слово в суде по делу Худайбердыева, я спросил: «Гражданин председательствующий, как вас понимать,

что Худайбердыев передал мне взятку как вышестоящему должностному лицу. Гражданин председательствующий, с чего вы взяли, что я являюсь по отношению к Худайбердыеву вышестоящим должностным лицом?» Председатель суда изумился и спрашивает у меня: «Откуда вы это знаете?» — «В газете прочитал», — говорю я. — «А вам что — в тюрьме газеты дают?» Вот что их волновало. В Лефортове не было радио, но газеты мы периодически получали.

Суд не принял во внимание, что Худайбердыев, Председатель Совета Министров Узбекистана, член ЦК КПСС и депутат Верховного совета СССР, не подчинялся мне по службе и никак от меня не зависел. На самом деле он занимал более высокое служебное положение, нежели я; спрашивается, за что же он в таком случае вручил мне 50 тысяч рублей (так записано в обвинительном заключении)?

Другими словами, Худайбердыев в силу своего должностного положения не нуждался в моей помощи и не мог рассчитывать на какую-либо протекцию с моей стороны. Зачем же, спрашивается, нужны такие натяжки в обвинительном заключении? А над ним работали юристы высшей квалификации.

Подчеркну и другое: я никогда не использовал свои родственные связи и свое служебное положение в интересах каких-либо лиц.

29 августа 1989 года Худайбердыев заявил в суде, что Гдлян силой заставил его дать на меня показания. Его «обрабатывали» еще задолго до очной ставки со мною. По словам Худайбердыева, Гдлян пять раз репетировал его будущую очную ставку со мной в своем следственном кабинете, причем в этот момент сам Гдлян был «в образе» Чурбанова, и подпевал за меня «реплики».

Другие участники «кремлевско-узбекского дела»: Норов, бывший генерал, (сейчас он инвалид), Норбутаев, тоже генерал (по приказу Гдляна и Иванова этот человек в течение длительного времени находился в следственной тюрьме КГБ Узбекистана, где его держали в одной камере с уголовниками, и он в течение месяца или двух был вынужден принимать пищу на параше и убирать за этими зэками — уму непостижимо, что пережил этот человек); третий генерал — Джамалов, который тоже здесь, бывший начальник УВД Ташкентской области; генералы Сатаров и Сабиров — все они тут, в «зоне», рассказали мне жуткие истории в том, как Гдлян и Иванов добивались у них показаний против меня, какие им взамен обещались льготы, «послабления» и все остальное. Дело доходило до того, что с отдельными из них еще задолго до моего ареста репетировали очные ставки со мной: в роли Чурбанова выступал кто-то из следователей, подавал, как

в театре, «реплики». Так отрабатывались различные варианты их поведения во время предстоящих встреч со мной.

Тем не менее, я вел себя так, что эти очные ставки — срывались. Даже очная ставка с Бегельманом — и та сорвалась: Бегельман что-то читал по бумажке, заранее написанной, что-то он выучил наизусть, я терпеливо слушал, потом, когда мне дали возможность говорить, напрочь разбил все его доводы. На этой очной ставке присутствовали Каракозов и Миртов — и я вижу, как вдруг занервничал Каракозов, как неловко почувствовал себя Миртов; 240 тысяч рублей уплывали от них совершенно реально.

А накануне этой очной ставки, когда мы с Каракозовым находились в кабинете вдвоем, он присел рядышком со мной на стул и елейным голосом вдруг зашептал: «Юрий Михайлович, есть такой Мусаханов, 70-летний старик, Герой Социалистического труда, бывший первый секретарь Ташкентского обкома партии, который говорит, что он тоже давал вам 20 тысяч рублей». Я пропустил это мимо ушей. Самой очной ставки с Мусахановым у меня не было, ибо Каракозов догадался, что Мусаханов тут же сникнет и не выдержит моих вопросов.

И вот на этой очной ставке с Бегельманом, когда нам наконец предоставили возможность задать друг другу вопросы, я спросил: «Петр Борисович, когда мы с вами в Ташкенте посещали профилактории МВД, Мусаханов был с нами?» (Я ездил туда, чтобы посмотреть профилакторий и принять баню. И именно там, согласно версии Каракозова, в бане, Мусаханов и передал мне 20 тысяч рублей — это опять по версии Каракозова. Больше с Мусахановым мы нигде не встречались). Бегельман не рассчитывал получить этот вопрос, растерялся и сказал, что Мусаханова с нами не было. Очная ставка тут же была прекращена, Бегельмана вывели, бросая ему в спину свирепые взгляды.

Когда мы остались вдвоем с Каракозовым, он заорал: «Что вы мне тут «тюльку» подбрасываете!» Вот эта «тюлька» была его любимым выражением. «А вы, — говорю, — зачем мне эти «тюльки» подкидываете?»

Очная ставка сорвалась, и я решил, что меня в этот день никто не вызовет, но через час начался новый допрос. Бывали такие дни, когда мне устраивали по две-три очные ставки подряд. Брали, как говорится, на измор, не считаясь ни с существующим уголовнопроцессуальным кодексом, ни с моей человеческой усталостью: вызывать — и давить, давить! И если по существующим нормам все допросы полагается заканчивать в 22 или 23 часа, то мои очные ставки заходили далеко за полночь. И рано утром, как говорится, «с первыми петухами», чтобы я не

успел прийти в себя и выспаться, снова устраивали допрос.

Когда мне казалось, что у Гдляна хорошее настроение, я пытался пойти с ним на откровенный человеческий разговор. Нет, он не хотел меня слушать. С Ивановым у меня как-то раз получилось «поговорить по душам», длился этот разговор четыре часа после вечернего допроса. Иванов сидел, потупив взор. Возразить ему было нечего. Я призывал Иванова: «Одумайтесь, что вы делаете, вы еще молоды, вам же никто этого не простит». Рядом с ним сидел новый «приватный» следователь, приехавший из Вологды, производивший впечатление нормального, еще неиспорченного человека, — так вот он, незаметно для Иванова, согласно кивал головой в ответ на мои реплики и доводы. Иванов сидел красный как рак. И вот когда уже надо было чем-то заканчивать, он говорит: «Хорошо, мы все это оформим протоколом допроса. Вы согласны?» Разумеется, я был согласен. Тогда — все, дело бы лопнуло, больше говорить было бы не о чем.

Разумеется, никакого протокола допроса не было. То ли Иванов сообразил, то ли Гдлян подсказал… не знаю. Через несколько дней я спросил у Иванова: «Николай Вениаминович, где же этот протокол, ведь он важен для нас обоих?» Иванов ответил, что протокола нет и никогда не будет. Вот так…

Не знаю, есть ли у Гдляна дети, а у Иванова — есть. Иванов не упускал возможность сказать мне, что, когда он уставший приезжает домой, и не хочет ни с кем разговаривать, его маленькая дочка ласкается к нему — и усталость тут же как рукой сняло. Иванов говорил, что его ребенок считает: при усах и бороде папе очень идет прокурорский мундир.

Когда-нибудь эта девочка узнает, как ее папа в этом же самом мундире мучил заключенных…

Я возвращался в камеру, а там меня поджидал мой собственный стукач Киселев, 70-летний старик-мерзавец, бывший генерал-лейтенант, работавший в Комитете по внешним экономическим связям… Там и генералы тоже работают, такая организация. Он следил за каждым моим шагом. В общем, и здесь меня ни на минуту не оставляли в покое.

Кроме Кунаева, всех этих следователей волновал еще и Щербицкий. Тогда он работал Первым секретарем ЦК КП Украины и являлся членом Политбюро. Но даже это следователей не остановило, у этих людей не было ничего святого. Они требовали от меня назвать сумму, которую я якобы передал Щербицкому. А я в кабинете Щербицкого был всего-то раз или два, да и то в присутствии других товарищей.

Имя Лигачева в то время не возникало, Горбачева — тем более; Гдлян и Иванов доберутся до них позже. А о Кунаеве

действительно у нас был разговор, но после того как бегельмановские 240 тысяч рухнули, Кунаев сразу перестал их интересовать.

Правда, чуть позже у меня была очная ставка с некой то ли узбечкой, то ли казашкой; мне сказали, что ее фамилия — Байтанова, которая очень бойко рассказывала, как она прилетела в Москву, чтобы передать мне от Кунаева в «кейсе» свыше двухсот тысяч рублей. Она говорила, что прямо с трапа самолета увидела меня, стоявшего у большой черной машины с букетом роз в руках. Она утверждала, что это происходило в 1979 году; между тем в это время «Чайки» у меня не было — короче, Байтанова врала так бойко, что тут даже Каракозов не выдержал, сдали у него нервы; а Миртов вообще просто вышел из комнаты, когда я заявил, что все это — гнусная и нелепая провокация. Эта очная ставка шла под видеозапись, но куда потом делась эта кассета вместе с самой Байтановой — я не представляю. Еще один эпизод «рассыпался».

Умнее всех нас повел себя Хайдар Халикович Яхъяев, бывший министр внутренних дел Узбекистана. Он просто обманул всех следователей, провел их как мальчишек. И сам рассказал об этом в Верховном суде СССР. Яхъяев сначала сделал все, что от него требовали следователи, то есть «топил людей» как только мог, все признавал; а потом дождался суда, отрекся от своих показаний и сам рассказал суду о преступных методах ведения следствия группой Гдляна и Иванова. Он говорил, что следователи торговались с ним, в том числе и за показания против меня. Они сразу сказали Яхъяеву, что чем глубже он «посадит» меня, тем для него будет лучше — дело Чурбанова, говорил ему Гдлян, кончено, теперь нужно спасать самого себя.

И вот все это Яхъяев рассказал на суде. И чем кончилось? Яхъяева освободили. Он был отпущен из зала суда под аплодисменты, и сейчас он на свободе. Рассказывают, что когда Яхъяев вернулся в Самарканд, ему устроили там пышную встречу с цветами и овациями прямо в аэропорту. А я порадовался за умного человека, так легко и просто выбравшегося на свободу.

Я верил суду. Очень надеялся на него. Проведя бессонную ночь перед началом суда, я вообще собрался отказаться от всех своих показаний.

Почему я не сделал этого?

Вот это и есть главная ошибка. Теперь жалею, конечно, надо было бы никого не слушать, никому не верить, но уж слишком много было советчиков, слишком много! Каракозов сделал так, что меня не оставляли одного. Ведь никто до сих пор не знает, что даже по дороге в Мособлсуд, где — отдельно от нас — слушалось дело бывшего генерала Сатарова, меня постоянно

сопровождал полковник Миртов. Он не отходил от меня ни на минуту. Более того, вопреки всем юридическим нормам, Миртов садился со мной рядом на скамью подсудимых, сидел просто бок о бок; и если бы я, допустим, стал говорить в суде что-то не то, он мог бы тут же… что угодно сделать со мной, нейтрализовать меня с помощью… каких угодно средств. А угодливый суд тут же прервал бы заседание и объявил бы перерыв на час, день, неделю — как угодно!

Когда судили Каримова, а это уже был Верховный Суд СССР, тот же Миртов сидел за моей спиной и дышал мне в затылок. Что же касается Каракозова, то он своей рукой написал мое выступление в зале суда; а рано утром, перед отъездом, мы с Миртовым еще раз, уже на два голоса, прошлись по тексту этого моего выступления. То есть он диктовал, а я покорно писал. Что же оставалось делать? Каракозов говорил: Каримову конец, высшая мера обеспечена, нужно думать о себе. Весь «мой» текст был в пометках Каракозова, он все время делал какие-то «вставки»; жаль, что я не сохранил все эти бумаги, любопытный был бы документ…

В общем, меня просто обманули. Я слишком хорошо знаю… эту систему, я хорошо знаю, как у нас могут расправляться с людьми. Я все-таки верил следователям, людям вообще надо верить, иначе человек, в конечном счете, станет опустошенным.

Если бы с самого начала я имел собственную линию поведения, сразу не растерялся бы, а занял определенные и конкретные позиции, то я бы, конечно, поступил тогда иначе. Но моя растерянность и тот «пресс», под которым я находился, были слишком велики. В итоге я был вынужден признать взятки на сумму 90 тысяч рублей от Каримова, Худайбердыева, Умарова и Есина.

Я не боялся публично вступить в борьбу с руководством правоохранительных органов Узбекистана, потому что они шли на свой последний суд. Но вот руководители партийных и советских органов выступали на моем суде в качестве свидетелей, их дела еще не были закончены, за ними стояли Гдлян и Иванов, вся следственная часть Прокуратуры СССР. Они просто боялись. И понять каждого из них в той ситуации можно. В той ситуации они не могли дать честных показаний. И я тоже боялся. Кроме того, я еще раз говорю, что меня просто обманули…

Не знаю почему, но я старался верить своему адвокату Макарову. Не могу сказать резко и твердо, что он меня предал, но человек он верткий; и я сильно сомневаюсь, что он вообще мне хоть в чем-то помог. Не сомневаюсь также, что он тоже получал определенные инструкции в «Большом доме». Сначала я вообще

не хотел адвоката, но коль скоро речь зашла о высшей мере наказания, то адвокат — по закону — обязан быть; кандидатуру адвоката для меня подбирал все тот же Миртов, правда, по моей просьбе: мой брат в этом деле человек непросвещенный. Миртов принес мне список, потом возникла кандидатура Макарова, я его совершенно не знал и попросил брата «прозондировать» почву. Как она «зондировалась» — не знаю. Времени оставалось мало. Но и Макарову я до конца не открывался. Помощи от него я не ждал. Я бы и без Макарова получил эти 12 лет или, допустим, на год больше — какая разница? Цифры-то одного порядка.

А в суд я верил. Я почти не сомневался, что председатель суда Мэров — человек, носящий генеральский мундир, сможет во всей этой «туфте» разобраться и… поставить на место всех лжесвидетелей.

Но уже в первый день я понял, что здесь все играют спектакль, и роли в этой пьесе написаны где-то на самом «верху».

Зал Верховного Суда СССР рассчитан человек на 240–300: грязные лавки, неухоженное помещение, такие же грязные и неухоженные камеры, где ждут начала суда обвиняемые. Нас было восемь человек: Яхъяев, Сатаров, Бегельман, Норбутаев, Джамалов, Норов, Сабиров и я. Суд признал ложными утверждения следователей, будто я получал деньги от всех названных руководителей органов внутренних дел Узбекистана.

Непонятно только, почему меня «пришили» именно к Узбекистану, а не к Молдавии, или, например, к Казахстану, или к Северной Осетии. Кстати, Миртов «примеривался» и на Армению. Он говорил так: «Прокуратура СССР располагает данными». «Ну и хорошо, — говорю, — располагайте». То есть я послал его куда подальше.

А почему они вспомнили об Армении? Да только потому, что я один или два раза бывал там по служебным делам… А логика такая: где Чурбанов был, там и брал. Допрашивать меня относительно моих «взяток» в Армении приезжал Катусев, работавший в то время заместителем Генерального прокурора страны (сейчас он Главный военный прокурор). На все его вопросы у меня был один ответ: «Нет!» Знаю ли я министра легкой промышленности? Ответ: «Нет». Ну и так далее…

Я чувствовал, как разгораются аппетиты у следователей: брать — так всю страну, почему Чурбанов «грабил» только Узбекистан, а не все пятнадцать союзных республик? Вот так они рассуждали. К слову скажу, что допрос Катусева — это допрос второстепенного следователя; читая протокол, я исправлял за ним грамматические ошибки. Достаточно это для характеристики заместителя Генерального прокурора? По-моему, вполне. Кстати,

и Гдлян пишет протоколы с орфографическими ошибками.

Что же касается председателя суда генерала Марова, то он мне и сегодня нравится: настоящий «служака», совершенно безропотный человек, смотревший начальству прямо в рот и умеющий не рассуждать. Как его «запрограммировали» на этот процесс, так он и вел себя. И только уж когда ему действительно что-то не нравилось (как, скажем, в истории с Бегельманом), только тогда Мэров вспоминал, что он служит закону.

И все-таки самый тяжелый день в моей жизни — когда я услышал в зале суда речь государственного обвинителя Сбоева. Сейчас он занял место Каракозова, который поплатился «арестом» за скандал с группой Гдляна и Иванова. Так вот, Сбоев во всем поддерживал следствие, просил определить мне 15 лет лишения свободы: сначала пять лет в тюрьме, потом десять лет в колонии усиленного режима. Вот тут мне уже стало не по себе. Все-таки провести пять лет на тюремном режиме, в одиночной камере, без работы и без воздуха — это верная гибель. И за что? С полутора миллионов дошли до 90 тысяч, да и тех — липовых. Это ли не авантюра?

Я выступал в суде три с половиной часа. В присутствии журналистов, шла телесъемка. Стояла гробовая тишина. Генерал Мэров согласно кивал головой. Сам приговор — 12 лет колонии усиленного режима — я встретил уже спокойно. И как такового последнего слова у меня не было: я не раскаивался, не заверял суд и общественность, что буду «паинькой», не просил к себе прощения или снисхождения. Бегельман, Норов и вся их компания заверяли суд, что они глубоко раскаялись, просили понять их правильно и пощадить. А я напоследок сказал им только одно: не надо было врать, дорогие товарищи.

И в то же время — как их судить? Ведь люди-то были обмануты. Они действительно боялись Гдляна — Иванова. Ведь терзали не только их, терзали всех их родственников. Я уже приводил достаточно примеров на этот счет, но вот последний штрих: у Норбутаева его родной брат был секретарем райкома партии в Кашкадарьинской области, а теперь он в каком-то совхозе работает банщиком. Инженер с высшим образованием! Неужели мы настолько во всем преуспели, что у нас банщик должен обязательно иметь высшее образование?!

Месть — она продолжается!..

Кстати, обо всем, что я рассказываю сейчас, я еще раньше говорил и членам Комиссии народных депутатов СССР, которая проверяла деятельность следственной группы Гдляна, — Николаю Алексеевичу Струкову и Валерию Григорьевичу Александрину.

Инициатива такой встречи исходила от них, они вели себя

исключительно корректно, шла видеозапись, они задавали самые разные вопросы и внимательно меня слушали. Я рассказал, как все было на самом деле. У меня была полная возможность ответить на всех их вопросы, ничего не утаив. В адрес Гдляна и Иванова я выдвинул целый ряд конкретных обвинений. Ну и что дальше? Беседа шла около четырех часов, меня выслушали, поблагодарили и отпустили с миром обратно… в камеру. Ничего не изменилось.

Да я и не надеялся, честно говоря.

Время, когда строил «хрустальные замки», уже прошло.

* * *

Ну, хорошо, думаю я иногда, послал бы я все это следствие к черту, как это сделал в суде тот же Яхъяев. Ведь ничего бы не изменилось. Все равно бы меня посадили. Вой прессы стоял такой, что и возразить нечего — растопчут. В зале суда стрекотали кино- и телекамеры, крутился все тот же, уже знакомый нам Феофанов в компании других друзей-журналистов. Тут говори — не говори, а эти люди уже все решили заранее.

Перестройке был очень нужен суд над Леонидом Ильичом. А как же! Дочь — не арестуешь, сына не арестуешь, слишком громкий был бы резонанс в стране и в мире. Зять — фигура вполне подходящая. Очень удобно. Тем более что зять — заместитель министра внутренних дел страны, не райсобеса. Человек боролся за законность, за порядок — почему бы не ошельмовать его как взяточника? Сколько у нас в стране людей, недовольных милицией? Все было продумано.

А я был лишь игрушкой в их руках.

9

Сегодня воскресенье. Весь отряд в кино, а я не пошел, опять ломит спину, да и руки болят, устал. Лучше отдохну, полежу.

Даже не верится, что остался один, что вокруг сейчас никого нет, что никто не храпит тебе в ухо и не матерится. Листаю свои дневниковые записи. Перечитал все, что было написано в «столыпинском» вагоне по пути в Ташкент, когда я уже отсюда, из Нижнего Тагила, ездил туда в качестве свидетеля по делу первого секретаря Новоийского обкома партии Есина, — я о нем уже рассказывал.

Любопытные записи.

«15 ноября 1985 года. Пошли уже вторые сутки в «Столыпине». Маршрут такой: Джамбул — Чимкент — Ташкент. Очень холодно. Одолевает простуда. От жестких нар в «Столыпине» ноют кости. Солдаты конвоя относятся нормально, выполняют предписание: строгая изоляция. В тройнике один. Вагон старый, дует во все щели, до Ташкента еще много часов. Впереди — очередной суд, теперь — Узбекский, Верховный. Я — свидетель по делу Есина. Интересно, что будет? Поверят, что я оговорил себя под давлением Гдляна и Иванова или «продублируют» как прежде? Посмотрим.

Сейчас около четырех утра. Проснулся от холода. В соседних «клетках» — Бегельман и Каримов. Они едут в Ашхабад, но на какой-то другой процесс. Бегельман и Каримов — спят, особенно Каримов — спит в любое время суток, храпит во всю. А что ему? У него срок — 20 лет, расстрел заменили. Полный флегматик, оставляет впечатление пустого и отрешенного человека. Колония особого режима в Ивделе, где он отбывает наказание, находится в Свердловской области. Там он пристроился помогать на кухне: еда для него главная проблема. Получил инвалидность второй группы. Отец 9 или 10 детей. Русским языком владеет плохо, говорит, что хорошо знать русский язык была не его забота, а — второго секретаря обкома партии (а он был первый). Много ест и мало о чем думает.

Рассказывал следующее: чтобы добыть показания, Гдлян арестовал 16 его ближайших родственников, в том числе — жену и двоих детей. Их крики, плач и допросы записали на видеомагнитофон и показали Каримову. Они с экрана умоляли его хоть что-нибудь сделать, потому что их в тюрьме держат впроголодь и все время грозят расстрелом. Услышав эти крики, Каримов готов был признать все, что угодно. В итоге — подвели под расстрел, потом дали 20 лет. Вот вам и «признательные»

показания, вот и полное беззаконие следствия. Лишь бы добыть показания! И семью Каримова сразу отпустили за ненадобностью…

Простуда одолевает все больше. Лишь бы не заболеть. Болит горло. Солдатам конвоя тоже холодно, но они, бедные, терпят. С арестантами обращаются нормально. Туалет и вода — все просьбы удовлетворяются, да и подготовка у них хорошая…

Все-таки очень жалко солдат срочной службы. Два года — и все время на колесах, эти молодые люди практически ничего не видят, только одних зэков.

Правильно ставится вопрос о переводе службы конвоирования на сверхсрочную службу или на работу по вольному найму. Это очень разумное решение. По крайне мере, так мы сохраним большое количество молодых людей от отрицательного влияния со стороны матерых преступников. Что ни говори, а за два года ежедневного, можно сказать, ежечасного общения с ними молодой парень, солдат, все равно что-то впитывает, проникается их психологией. Рано или поздно это даст свои плоды. А солдату внутренних войск можно найти и другое применение…

Спать уже не хочется, а надо, обязательно надо. Пишу эти строки на короткой остановке, вагон пустой, едем мы только втроем, да, кажется, еще кто-то в соседней камере. Прапорщик, начальник конвоя, жалуется: в вагоне холодно, потому что плохой уголь. Все правильно. Кто же даст зэку хороший уголь? Мы ведь не люди, мы вне закона и Конституции. Попробую уснуть, авось, получится. До Ташкента рукой подать…»

Вот так, уже несколько раз, я уезжал из Нижнего Тагила. Сначала — в Москву, давать показания в суде по делу Худайбердыева, потом в Ташкент. Когда везли в Москву, тут мне повезло больше — отправили самолетом. Это был обычный гражданский рейс Аэрофлота.

А еще раньше, когда я находился под следствием в Лефортовской тюрьме, меня привезли в Домодедово, не сообщив, куда я еду, и только тут я понял, что мы зачем-то летим в Ташкент. Летели мы на Ил-86, пассажирами были узбеки, и хотя я был без наручников, но вид у меня был — арестантский; так что многие пассажиры меня узнали, подходили, с любопытством смотрели, а некоторые — даже здоровались. По бокам, впереди и сзади расположился конвой, восемь человек во главе с офицером, — в общем, окружили меня достаточно плотно, хотя куда я денусь на высоте 10 тысяч метров? А когда прибыли в Ташкент, у трапа стоял все тот же «автозак»…

Ташкентский изолятор КГБ очень плохой, грязный, сырой,

когда шел дождь, камера наполнялась всякими испарениями (она находилась в полуподвале). Тут я пробыл где-то порядка десяти дней. В камере со мной находились еще двое: наркоман-«афганец», сидевший за употребление наркотиков, и еще один военнослужащий, тоже, по-моему, «афганец», который привлекался к ответственности за какие-то незаконные операции. Они, бесспорно, знали, кто я такой, хотя табличку «Чурбанов Ю.М.» я с робы содрал, перед этапом ее целесообразно снимать. Сначала с их стороны была предпринята… ну, в общем, хотели они меня «прощупать», но зная эту публику, зная их подходы… — короче, я быстро поставил их на место и сказал, что чем меньше будет ко мне вопросов, тем лучше будет для этих парней.

А второй раз я попал в ташкентский изолятор — но уже МВД в ноябре 1989 года. Вот после этого самого путешествия в «Столыпине», о котором я рассказывал в дневнике.

Читаю здесь же, в дневнике, еще одну запись — от субботы, 25 ноября 1989 года: «Пошел 21-й день после моего отъезда из колонии и восьмой день пребывания в ташкентском изоляторе. Разместили. С соседями разговариваю мало, по-русски не тянут… Чехословакия бурлит, особенно студенчество, Якеш и другие подали в отставку, на митинге вновь появился Дубчек — впервые после 1968 года. Что же будет с Гусаком? Я видел его только один раз, в Крыму, и то — очень короткое время. Он приезжал на отдых с двумя детьми, но их я совсем не помню. Неужели народ потребует суда над Гусаком, как немцы требуют суда над Хонеккером. Но что же все-таки, происходит в соцстранах? Каков их дальнейший путь и каков наш путь? Что покажут дальнейшие события и что о них скажет история? Ждать, видно, недолго. Все везде бурлит. Одни слова: демократия, гласность, перестройка. Пока что только митингуем и бастуем. Когда же народ за дела конкретные возьмется? Недалеко от меня — Джамалов и Сатаров. Тоже едут куда-то по судебным делам. Бегельман и Каримов уже в Ашхабаде. Интересно, с чем вернется Бегельман, что там будет?

Начал читать исторический талмуд «Россия и ханство Средней Азии», сделал интересные выписки. Авось, пригодятся когда-нибудь…»

Это — из дневника. Но разве все, о чем я думал в Ташкенте, заносилось в дневник? Нет, конечно. Самое-то главное как раз я и не записал. Всему свое время.

* * *

А главное — вот. Здесь, в Узбекистане, и начались все мои

мучения. Я уже говорил, что Гдлян и Иванов выбрали Узбекистан не случайно, и факт остается фактом — все отсюда. Знать бы тогда? Впрочем, что бы это изменило?

Помню, как я впервые увидел Рашидова. Обычный рейс Аэрофлота, я прилетел в Ташкент рано утром, — ну, кто же знал, что Рашидов приедет встречать меня прямо на летное поле? Никакой предварительной договоренности, никакого «протокола» между нами не было. Мы поздоровались, и я увидел перед собой обаятельного и интеллигентного человека, который очень уверенно чувствовал себя в роли первого руководителя республики. Я не раз слышал, как тепло и уважительно отзывался Леонид Ильич о делах Узбекистана. Когда Рашидов, выступая на пленумах ЦК КПСС, ставил перед Политбюро и Генеральным секретарем ЦК КПСС какие-то постановочные вопросы, обращался с принципиальными просьбами, они всегда находили у Леонида Ильича поддержку. Не думаю, чтобы зять Брежнева, приехавший с коротким визитом в Узбекистан, представлял для Рашидова какой-то интерес в плане личной выгоды для себя, — слишком высокое положение он занимал. И, повторяю, очень уверенно себя чувствовал.

От аэропорта к гостинице ЦК всего десять минут езды, в машине был самый обычный вежливый разговор — как долетел, как Москва… У Рашидова, по-моему, и мысли не было обращаться ко мне с какими-то личными просьбами. За коротким завтраком тут же, в гостинице, а потом, чуть позже, во время разговора в его служебном кабинете речь шла только о конкретной работе. Рашидов очень хорошо знал положение дел в своей республике, в том числе — и в органах внутренних дел. Были трудности — и он их не скрывал. Поэтому даже сейчас, уже основательно (как и все наши читатели) обработанный прессой, я все равно не могу поверить, что этот седой, внимательно всматривавшийся в своего молодого собеседника человек, заслуживший авторитет у своего народа, и был в республике, как «выясняется теперь», главным «мафиози». Недаром известный писатель О. Сулейменов недавно открыто говорил с трибуны, что Шараф Рашидов был верным сыном узбекского народа.

Кстати, здесь, в колонии, узбеки говорят то же самое. Как это объяснить? Я, например, не встречал человека, который бы взахлеб говорил об Усманхо-джаеве (он и сменил Рашидова после его смерти). Думаю, что такого человека надо еще хорошенько поискать, прежде чем он будет найден.

Та же участь постигла и Худайбердыева, бывшего Председателя Совета министров Узбекистана. Все узбеки, его знавшие, говорят в один голос: Худайбер-дыев вел

затворнический образ жизни, был очень осторожен в общении с людьми и никогда не пошел бы — просто в силу своего характера, своей трусливости — на взятки.

А о Рашидове (даже после всех резко критических статей) в Узбекистане существует совсем другое мнение. Так же, кстати, как и в Азербайджане об Алиеве, только что избранном народным депутатом своей республики.

Что же, на мой взгляд, узбеки ценили в Рашидове прежде всего? При нем в Узбекистане был порядок. Они ценили его трудолюбие. Умеешь трудиться — так занимай соответствующую должность и работай. А потом, когда газеты стали кричать: «рашидовщина», «шарафрашидовщина»… и все это волнами покатилось из Москвы в Ташкент, из Ташкента в Москву… — слава богу, что эти волны хотя бы не натолкнулись на каком-то перегоне друг на друга…

О смерти Рашидова тоже полно домыслов и слухов. Чуть ли не тот же Алиев якобы, выполняя поручение Андропова, уговорил Рашидова застрелиться. Все это опять-таки полная чепуха, конечно. Рашидов умер своей естественной смертью. Он был в поездке по Узбекистану, и вот на пути в какой-то город (по-моему, Нукус) ему прямо в машине стало плохо, он попросил шофера остановиться, полежал в траве, но лучше не стало, они тут же примчались в первую попавшуюся больницу, в ней он и умер.

Я никогда не был в гостях у Рашидова дома и не знаю, как он жил. Только за завтраком успел заметить, что в еде он неприхотлив, скромен, любит обычную молочную пищу и чай. На столе стояло спиртное, но мы к нему даже и не притрагивались.

Ну вот, Рашидов меня встретил, приехали в гостиницу — обычная гостиница ЦК, номер «люкс», (две комнаты и ванная вместе с туалетом). Номер стоил где-то 7-10 рублей, все квитанции я оплачивал сам, так что тут Гдлян — даже он! — уже ничего не мог придумать. Короче, разместился в гостинице и уже через полтора-два часа я был в Министерстве внутренних дел Узбекистана, где и провел совещание с его руководящим составом. Я сразу сказал, с какой целью я приехал в республику, сколько дней намерен здесь провести, что меня интересует в первую очередь. Можно было бы, конечно, все это скрыть и нагрянуть, что называется, внезапно, но я считал, что это неправильно, серьезные люди так не работают; с моей стороны это все выглядело бы как неуважение и недоверие к органам внутренних дел республики. Поэтому мы условились сразу и обо всем. Трудились плотно, но бывало, конечно, что и по ночам (не для того, чтобы кого-то застигнуть врасплох, а просто в порядке

наблюдения) требовалось поехать в какой-то отдаленный райотдел милиции и посмотреть, как он работает. Во время таких «визитов» не раз приходилось встречаться с расхлябанностью и с теми сотрудниками милиции, которые недобросовестно выполняли свои служебные обязанности. Натыкался я здесь и на пьяных. Можно было бы, наверно, и не ездить по ночам, не посещать все эти райотделы; но в том-то и дело, что когда смотришь на эту работу милиции в неурочный час, когда нет дневной лакировки, то многое… просто лучше видно.

Как же несли свою службу органы внутренних дел в Узбекистане? Все-таки — это Восток, узбекская милиция имела свои особенности, с которыми нужно было считаться: узбеки — люди ранимые, я бы даже сказал — обидчивые, разговаривать с ними на повышенных тонах нельзя. Да и служба, в общем-то, утомляла людей. Но если все-таки оценивать работу МВД Узбекистана, то здесь ситуация была не хуже, чем в других регионах. Более того, по отдельным показателям Ташкент и Ташкентская область имели очень неплохие результаты. Прежде всего — это оперативно-служебная работа. Показатели раскрытых преступлений в Узбекистане были намного лучше, чем в других городах страны. А такие вопиющие случаи, когда пьяные милиционеры сами совершали преступления и, допустим, кого-то убивали — так такие примеры можно найти где угодно, в любом регионе. Узбекская милиция здесь ничем не отличалась, скажем, от таджикской — я уже говорил, что мы по всей стране сталкивались с тем, что наши милиционеры убивали людей, насиловали женщин, стреляли или — по пьянке — стрелялись сами, все это было. Но, повторяю, не только в Узбекистане.

И если кто-то думает, что милиция — это такая организация, где все должно быть только «по струнке», тот глубоко ошибается. Нет, милиция — это живой организм. Сейчас, к слову, в органах МВД появились даже свои собственные профсоюзы. Что предшествовало созданию этих профсоюзов, какая тут подоплека — я не знаю. Но мне-то кажется, что органы внутренних дел есть, прежде всего, боевая единица, а нужны ли ей профсоюзы — я глубоко сомневаюсь.

Теперь о том, как же все-таки меня принимали узбеки. Вот, например, как воспринимал мой приезд в Узбекистан бывший начальник Ташкентского УВД Сабиров — опытный, боевой генерал с хорошей репутацией. Он говорил: «Я боялся подходить к генерал-полковнику Чурбанову. Он был очень строг и не любил, когда к нему приставали с пустяковыми и глупыми вопросами». Это из его выступления на суде.

Другая деталь: ни с кем из этих узбекских генералов (кроме,

допустим, министра, гостем которого я являлся) я ни разу в жизни не сидел за общим столом. И никаких совместных ужинов с выпивкой у нас не было. А если этого требовал долг вежливости, то за столом всегда был не я один, но и другие товарищи. Тот же Есин, первый секретарь Навоийского обкома партии, утверждал, что он дал мне крупную взятку, положив сверток с деньгами в бухарский халат, который он тут же, за столом, мне и преподнес. Газеты писали, что этот халат стоил баснословных денег.

Но когда у меня описывали имущество, то тут и выяснилось, что это самый обычный, ширпотребовский халат, расшитый цветными нитками, и цена его — сто рублей. Ну и как, спрашивается, в такой обстановке, за столом, где сидят либо прибывшие со мной из МВД СССР офицеры и генералы, либо местные руководители, можно было всовывать деньги приехавшему из Москвы незнакомому человеку! Да и кто бы рискнул!

Если мне что-то дарили, то, в лучшем случае, это могла быть красивая расшитая тюбетейка — то есть подарок, от которого отказываться нельзя, если ты уважаешь, конечно, законы гостеприимства этой республики. Но какая же это взятка? А тому же Сабирову, кстати говоря, Прокуратура СССР приписала, что за три года работы в УВД Хорезмской области он съел лепешек, бесплатно присылаемых ему из буфета, где-то аж на 100 рублей. Сабиров говорит следователям: «Поймите, я жил без жены и детей, готовить было некому, ну приносили мне эти лепешки, виноват, иногда просто забывал рассчитаться…» А ему инкриминировали это как взятку.

И до таких глупостей докатывались следователи.

* * *

Теперь такой вопрос: да, конечно, я имел поддержку и некий «тыл», некую «стену» в лице Леонида Ильича Брежнева — но разве Генеральный секретарь ЦК КПСС, человек крайне щепетильный и предельно честный в таких вопросах, допустил бы, чтобы его зять, занимающий высокое должностное положение, был бы, как писал в «Огоньке» молодой Лиханов, «горьким пьяницей»? Какие журналистские эмоции обуяли Лиханова, откуда эта информация черпалась — не знаю. Все мы не святые, конечно. Почему бы и не выпить рюмку в кругу друзей, знакомых, товарищей? Но нельзя же все сразу возводить в какую-то степень, наделять человека всеми пороками сразу и, не задумываясь,

навешивать на него все возможные и невозможные ярлыки! У нас — случалось! — были действительно горькие пьяницы, которые, даже занимая определенное положение, как говорится, «не просыхали». Но в высоких эшелонах власти этого никогда не было. Да и кто бы терпел? А, кроме того, если бы я и сам был «горьким пьяницей», то разве поднялась бы у меня рука освобождать от работы в МВД СССР тех людей, которые действительно страдали этим пороком?

Теперь посмотрим любую поездку, любую область. Что такое банкет? Утром, естественно, никакого банкета быть не может. Утром — это обычный завтрак без спиртного. Наступает вечер. Но ведь всему же есть свой предел. Человек приезжает в незнакомую для себя область. Он не знаком или знаком, но поверхностно, с ее руководством. То есть еще неизвестно, как у них сложатся взаимоотношения, каждый «примеряет» друг друга к себе; а у меня — это нужно сразу понять — миссия, далекая от праздного любопытства, тем более что я в свои замыслы предварительно никого не посвящал. То есть никто не знает, с чем я приехал. А ведь тут можно всего ждать!

Значит, у «отцов города» уже существует некоторая настороженность. Будет ли человек в этой ситуации компрометировать себя банкетом? Что я о нем могу подумать, спрашивается?! И откуда этот руководитель знает, как еще все повернется. Тем более они понимали: я имел «прямой выход», если мне не понравится, как тот или иной секретарь (и не важно, какой это уровень: райком, горком, обком) решает вопросы, связанные с проблемами органов внутренних дел на местах, то ему и этот банкет выйдет боком. Значит, не банкет, а только обычный ужин. А если еще в лице первого секретаря оказывается умный и интересный собеседник… Но тут опять-таки нужно сразу определить ту грань, которая отличает банкет, то есть пышное застолье, от обычного товарищеского ужина — даже, наверное, не стоит в этом случае обращаться к «Толковому словарю» Даля. Может быть даже, что это и не ужин вовсе, а обычная деловая беседа под рюмку водки, которая, по-моему, никогда не возбранялась.

На допросах Гдлян очень часто говорил об «узбекском застолье». Теперь посмотрим, что же это такое на самом деле.

Я дважды бывал в Узбекистане и никогда не видел, чтобы люди, находящиеся со мной за столом, выпивали бы больше одной-двух рюмок. На улице — жара. Очень душно. В Узбекистане люди в основном пьют чай, а не коньяк или водку. Тут, наверное, стоит даже уйти в историю: ведь Коран запрещает употреблять алкоголь. А в Узбекистане сейчас даже еще больший

интерес к Корану, чем когда-либо. Я уже не говорю о том, что в среднеазиатских республиках существует исключительно уважительное отношение к старшим. И если на столах для приличия и стояли спиртные напитки, то это еще не повод объявлять короткий ужин застольем или банкетом…

Теперь другая сторона: если был банкет, то как ты утром будешь работать и встречаться с людьми? О чем с ними разговаривать? Ты неважно себя чувствуешь, у тебя болит голова. От тебя разит «вчерашним». Ну, куда это годится?

Опять-таки узбеки очень чутко реагировали на человека, который провел нетрезвую ночь. Я это знаю и по их рассказам, и по личным наблюдениям. Так нужно ли «надираться» до такого состояния, чтобы утром людям было бы неудобно просто смотреть в глаза? Тем самым людям, с которыми ты вечером сидел за столом?!

Единственно, что я с удовольствием посмотрел, — это исторические места Самарканда и Бухары. Не познакомившись с историческими традициями, невозможно, по-моему, понять жизнь народа сегодня. Это наша сокровищница. Мне и раньше приходилось много читать об Узбекистане.

Всегда с уважением относился к узбекскому кинематографу — особенно мне запал в память прекрасный фильм «Тахир и Зухра». Его, я думаю, мало кто и видел. Я запомнил его еще с комсомольских лет, — и вот, приехав в Ташкент, я попросил, если есть возможность, посмотреть его. И что же оказалось — этого фильма уже нет. То ли пленка пришла в негодность, то ли его просто не нашли — короче говоря, сами узбеки о нем уже не знают. «Тахир и Зухра» — это узбекский «вариант» старой легенды о Ромео и Джульетте — вот чем я на самом деле занимался, а не гаремами, как писал все тот же Лиханов в «Огоньке»…

10

И ведь договорились журналисты в газетах до того, что наша колония похожа на санаторий.

Вот я и расскажу теперь, какой это санаторий.

Среди осужденных нашу колонию именуют «ментовской зоной». Разумеется, такая «кличка» дана не случайно. Дело в том, что осужденные из числа бывших работников Прокуратуры, КГБ, МВД и партийных органов в равной степени, то есть независимо от той должности, которую они занимали «в миру», не могут находиться в одной колонии с уголовниками. Там им не жить. Возможна расправа. Таков закон уголовного мира. Поэтому у нас еще со сталинских, если не ошибаюсь, времен и существуют «ментовские зоны».

Сейчас на территории Советского Союза их всего три: Нижний Тагил, Иркутск и Алма-Ата. Многих «высокопоставленных» осужденных отправляют именно сюда, в Нижний Тагил. Почему так? Не знаю. На месте Нижнего Тагила, одного из самых загрязненных, самых тяжелых (в экологическом плане) городов Советского Союза, мог бы быть и любой другой город. Любой! И это было бы, наверное, лучше, потому что в Нижнем Тагиле дышать уже совсем нечем.

Уже три года, как я здесь. По численности «ментовская зона», то есть колония № 13 не больше и не меньше, чем сотни других колоний страны. У нас примерно такое же количество отрядов. Каждый отряд в среднем где-то около 80-100 человек — такая численность предусмотрена существующими нормативными актами, которые регламентируют деятельность исправительно-трудовых учреждений. Режим здесь усиленный. Для всех усиленный: Иванова, Петрова, Сидорова…

Усиленный он и для Чурбанова.

В 6 часов — подъем (в воскресенье на час позже.) Дневальный не кричит, как это бывало раньше, просто раздается оглушительный, как вой сирены, звонок; зэки поднимаются, быстро делают зарядку, потом — туалет, быстрый прием пищи и выход на работу. Первая смена заканчивает работу в 17 часов, вторая вкалывает до часа ночи, потом заступает третья смена — до утра. У каждого отряда своя определенная смена, они меняются по циклу, чтобы не нарушать ритм производства.

Бараков на территории колонии нет, бараки были в те самые времена, когда сидел Солженицын. Сейчас это общежития. Но никаких комнат, разумеется, нет, это одна большая казарма: справа койки, слева койки, когда одноярусные, когда — если

потеснее — двухъярусные; все зависит от размеров казармы и наполнения отряда. Каждому осужденному полагается кровать и тумбочка, в которой — согласно общему предписанию — разрешено держать бритвенный набор, письменные принадлежности и белье.

Распорядок для всех один, он узаконен. Как и везде, колонию возглавляет начальник, у нас — подполковник Жарков, у него есть замы по производству, по режиму, по политико-воспитательной работе. Люди в погонах имеют право на единоначалие, это предусмотрено соответствующим приказом министра, нормативными актами и в полном объеме распространяется на каждое исправительно-трудовое учреждение, где бы оно ни находилось.

Я прибыл в колонию на общих основаниях, газеты, разумеется, трубили, что меня встречали здесь чуть ли не с оркестром, но никаких «скидок» для Чурбанова не было и никогда не будет. На них я и не рассчитывал. Когда я ехал по «этапу», то я и в голове это не держал.

Какие скидки — выжить бы… не сломаться.

Первый разговор с начальником колонии — это просто знакомство. После того как осужденный прибывает с «этапом» в колонию, он размещается в «этапном карантине». Есть здесь такое подразделение. И вот прибывает группа новичков. Их сразу отправляют в «этапный карантин» для медицинского обследования. В карантине зэки проводят 10–12 дней, довольно долго. Сам карантин — это обычное помещение на территории колонии, где осужденных стригут, одевают в колонистскую форму и знакомят с правилами распорядка дня. А я уже приехал стриженный. Меня перед «этапом» постригли в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Хорошенькая поблажка, нечего сказать…

Вместе с заключенным в колонию прибывает и его «личное дело». Его смотрит начальник колонии, а потом встречается с каждым осужденным в отдельности. Это закон. Пришла и моя очередь. Кабинет начальника находится в штабе колонии, на втором этаже. Это обычная, не очень большая комната, два телефона, чей-то портрет… Состоялся короткий ознакомительный разговор о работе, об условиях содержания, об отряде, то есть обычная нормальная беседа.

Осужденных распределяют на работу, исходя из медицинского заключения. То есть смотрят, кому что противопоказано. В моем «личном деле» было сказано: трудоспособен. Ну, а сам вид работы определяет уже руководство колонии. Начальник не сразу сказал мне, кем я буду работать,

сначала был определен цех, а уже потом — и должность, так сказать. Я начал трудиться слесарем-сборщиком.

Делал креманки.

Креманки — это, по-нашему, вазы для мороженого. Сама креманка состоит из нескольких частей: чаша, основание, стержень. Самое трудное — не промахнуться в поклепке, аккуратно соединить «низ» с «верхом». Есть такой небольшой станочек, на котором чаша креманки зажимается и насаживается на алюминиевый стержень, после чего он расклепывается. Тут важно, чтобы «верх» соединился с «низом» и эта чашечка не проворачивалась бы. Тогда все готово.

До завода я окончил ремесленное училище и выпускался из него слесарем-сборщиком 4-го разряда. И хотя это был авиационный завод, то есть никаких креманок на нем и в помине не было, все же какие-то навыки остались. Не забыл я еще, как нужно держать в руках слесарный инструмент. Норма производства креманок сначала показалась мне большой (500 штук в день), не каждый раз это получалось, у меня не было соответствующей квалификации, но у кого из вновь прибывших здесь есть такая квалификация? Показали, как нужно делать, — и начал я потихоньку клепать эту вазу…

Каждому осужденному полагаются два ученических месяца (норма — 400 штук, тоже немало). Потом, когда уже «набиваешь» руку, норма не кажется такой большой, но это — потом, а сначала…

У нас с напарником был план по этим креманкам — 7–8 тысяч в месяц, в зависимости от того, какая в них потребность. Но меньше 6 тысяч не было. И эту норму нужно выполнять. Таково правило. Попробуй не выполнить!

Если ты работаешь плохо, то сначала тебе просто рекомендуют работать хорошо. Если же ты не понял, не сделал для себя выводы, то тебе еще раз… рекомендуют выполнять эту норму; и если нет никаких оснований для невыполнения, ты просто будешь наказан. Как? Тебя могут лишить права на приобретение продуктов питания в лагерном магазине, это очень серьезное наказание для осужденного — если это случится, то ты целый месяц будешь… питаться хуже, чем питаешься. Тебе могут объявить взыскание — письменное или устное. А в том случае, если эта норма не выполняется постоянно, начальник колонии имеет право лишить тебя длительного — это бывает два раза в год — свидания с женой или близкими родственниками.

Могут быть применены и такие штрафные санкции, как водворение в штрафной изолятор; кстати, в штрафном изоляторе тоже надо работать, только там другой вид работы, более

тяжелый. Есть в нем помещения камерного типа, в них, как правило, клепают «жеребейку» — в «зоне» существует и такой вид деятельности. Здесь, в колонии, нет карцеров, так что самое тяжелое наказание для осужденных — это водворение в ШИЗО на 15 суток. Или — это еще хуже — заключение в помещение камерного типа.

Посмотрим, что будет, если эти мои записки увидят свет.

Убежать из «зоны» невозможно, да и что это даст? Каждая колония охраняется внутренними войсками.

Эти ребята стреляют без промаха. Насколько я знаю, из нашей колонии только однажды, еще в 60-х годах, была сделана попытка побега и закончилась она смертельным исходом.

Трудно очень. Первое время я просто не высыпался. Стоишь весь день у станка и… клепаешь, клепаешь эти… креманки; быстро накатывается усталость, причем больше всего — зрительная, это повторяется изо дня в день, изо дня в день… После ваз болели руки, плохо работали кисти, был тяжелый, рваный сон; да и сны, прямо скажем, были… всякие. Гдлян с Ивановым и Миртов с Каракозовым будут мне, наверное, всю жизнь сниться. И еще — Сорока, тот самый заместитель Генерального прокурора, который давал санкцию на мой арест…

В месяц я зарабатываю где-то около 100 рублей. По нынешним временам, конечно, не деньги, но ведь на территории колонии нет Центрального рынка, так что и тратить их особенно не на что. От этой суммы с зэков сразу высчитывают ровно половину, то есть по 50 рублей — за что — никто не знает. Так же никто не знает, куда и на что идут эти деньги. Согласно существующему предписанию, осужденных кормят завтраком, обедом и ужином на 22 рубля в месяц. Сумма говорит сама за себя, но ничего, зэки с голода не умирают пока что. Разумеется, эти деньги тоже высчитывают из заработной платы. Кроме того, деньги высчитываются за одежду, которую ты получаешь со склада, — в общем, на руках остаются совсем крохи.

Что же касается лагерного магазина, то осужденный имеет право потратить на него лишь 15–16 рублей в месяц, не больше. Не знаю почему, но те деньги, которые заключенный получает из дома, он не имеет права тратить на продукты питания. Тюрьма все-таки!

В лагерном магазине можно купить только то, что там есть: ассортимент продуктов невелик, и он определен существующим служебным циркуляром. Это — хлебобулочные изделия, повидло, если оно есть, в прежние времена (до табачного кризиса) — папиросы и сигареты. Табачный кризис чувствуется в колонии так же, как и по всей стране.

Существует норма: десять пачек папирос, сигарет или махорки в месяц. Что там говорить, конечно, это очень мало. И талоны на сахар, как это делают жители Москвы, на сигареты здесь не обменяешь! Можно, конечно, один или два раза «стрельнуть», но потом ты уже становишься должником. Если кто-то из осужденных угостит тебя сигаретой, то потом эту сигарету придется вернуть, таков лагерный закон. Кроме того, в магазине можно приобрести товары первой необходимости: хлопчатобумажные носки, мочалку и мыло.

Каждый отряд имеет телевизор, в некоторых — даже цветные. В нашем — обычный, черно-белый. Время просмотра телепередач — с того момента, когда ты вместе с отрядом возвращаешься с работы и до программы «Время» включительно. В 21.30 у нас общее построение, проверка наличия осужденных, в 22.00 отбой.

Главное и единственное желание заключенного — выспаться. Каждый зэк с нетерпением ждет воскресенья. Это — единственный день, когда можно чуть-чуть отдохнуть, сходить — опять-таки всем отрядом — в кино и хоть как-то привести себя в порядок, постирать. Осужденные сами ремонтируют свою одежду и стирают арестантские робы. Постельное белье сдается в лагерную прачечную, но качество стирки оставляет желать лучшего. Многие стирают свои простынки и наволочки сами. Но если постирать белье утром, то к вечеру оно не всегда успевает высохнуть, вот ты и сушишь его в постели собственным телом…

Если среди молодых осужденных есть люди, не имеющие среднего или среднего специального образования, они должны учиться. В стране действует Закон о всеобщем среднем образовании, и его никто не отменял. На территории колонии построены школа и профтехучилище, но так — я буду постоянно подчеркивать — не только у нас; такие учебные заведения существуют практически во всех местах лишения свободы. Существует положение об исправительно-трудовых учреждениях, в котором все это предусмотрено.

И после работы зэки идут за парту. Школа — самая обычная, с педагогами и завучем, есть все классы, разве только не с первого (где-то, наверное, с восьмого); там ребята получают аттестат зрелости, и в этом документе нет пометки, что он выдан в колонии усиленного режима. И профтехучилище — это самое обычное ПТУ, когда-то и я тоже кончал такое — здесь можно получить специальности слесаря, крановщика, сварщика… Все это — необходимые специальности как для самой колонии, так и — когда человек освобождается из «зоны» — для народного хозяйства страны. Учителями работают «вольнонаемные» специалисты и офицеров, разумеется, среди них нет, это не

академия. Сужу по отзывам осужденных: им нравится посещать и школу, и профтехучилище.

* * *

Во всех «зонах» заключенным настойчиво рекомендуется выписывать и читать газеты. Опять-таки скажу: именно во всех «зонах», не только в нашей, 13-й.

Почему-то журналистам, которые являются сюда довольно часто, все время кажется, что у «ментов» есть какие-то «поблажки». Если этот заезжий журналист видит в ларьке кусок рыбы, то ему кажется, что это кусок осетрины или севрюги, и все это почему-то сравнивается с нищими московскими прилавками. А при чем тут Москва? Не надо сравнивать. И если в нашем ларьке появился маргарин, а где-то его нет, так завтра, будьте спокойны, его не будет и у нас. А если он и будет, так что из этого; у человека нет свободы, этот человек проводит у станка по восемь часов в день и трудится не разгибаясь — разве он не имеет право на пачку маргарина? Осужденные расценивают такие статьи как неумные попытки поссорить читателей с заключенными, внушить им, что у нас, в 13-й, по-прежнему сохраняется некая «тюремная номенклатура». И, тем не менее, осужденные — у нас особенно — не мыслят своего существования без журналов и газет. Если у тебя после всех вычетов остались заработанные на производстве деньги, то тебе никто не запрещает выписывать на год или на полгода ту газету, которой ты особенно симпатизируешь.

«Правду» я читаю в обязательном порядке. Журналы не выписываю, да и сейчас, с учетом резкого подорожания, их уже, наверное, просто невозможно выписывать. Сейчас зэки решили «скидываться» и выписывать один журнал на три-четыре человека, во всяком случае, я все время слышу такие разговоры. А иначе — не получается, это просто не по карману. Те деньги, которые присылают из дома, не идут (как я уже говорил) на получение продуктов; они могут быть использованы — только на приобретение каких-то товаров или, скажем, на зубного врача. В колонии раз в неделю работает какой-то зубоврачебный кооператив — все-таки зубы изнашиваются так же как и сам человек. К услугам стоматолога я пока что не обращался, но думаю, что это время уже не за горами.

А так, скажу еще раз, народ здесь читающий, причем — болтливо читающий. Зэки живо обсуждают все услышанное, прочитанное и с еще большим удовольствием это услышанное и

прочитанное перевирают. Все-таки психология людей, оказавшихся в колонии, трансформируется очень сильно. Из маленького слушка быстро рождаются слухи. Они, как снежный ком, обрастают новыми подробностями — и понеслось! Поболтать в «зоне» — так это хлебом не корми… Так что для осужденного журналы и газеты — это еще и повод для общения между собой.

В колонии есть небольшая санчасть, коек на 20. Если что-то случилось, скачет давление или прижимает сердце — тут тебе помогут подлечиться. Но если, не дай бог, осужденный заболел серьезно и надолго, ему требуется операция, то его когда в «Столыпине», когда в «автозаке» отправляют в Свердловск. Там есть специальная больница для осужденных, говорят — обычная тюремная больница…

Какие там врачи — не берусь судить.

* * *

Разумеется, «зэки» делают не только креманки. В цехе, где я работаю, на одном участке собирают картофелеочистительные машины, это, пожалуй, куда сложнее, чем креманки; тут много разных операций — кто-то из осужденных собирает конус, кто-то — электродвигатель и т. д. Этажом выше заключенные собирают водопроводный вентиль. Что это такое, я тоже хорошо знаю. Больше года я делал креманки, а потом меня «перекинули» вот на эти самые вентили. Норма 600 штук в день. Это, конечно, попотеть надо, хотя стоит такой вентиль всего около рубля с небольшим. Сейчас мы уже выпускаем не только чугунные, но и латунные вентили — их две модификации. Латунный стоит дороже, но он имеет удобную своеобразную форму.

Спрашивается: если заключенному от всех заработанных денег непосредственно остается только 15–16 рублей, а все остальное — вычеты, то стоит ли ему стараться сделать этих вентилей (то есть зарабатывать) как можно больше? Это сложный вопрос.

Тем не менее, так его ставить неправильно. Во-первых, работать нужно? Нужно. Только труд исправляет человека. Во-вторых, есть группа людей, которая имеет право на относительно лучшие условия содержания. Это — инвалиды. Они тратят в лагерном магазине не 15–16 рублей, как все зэки, а чуть больше — и из заработанных ими в колонии денег, и из тех небольших сумм, которые переводят родственники. В нашей «зоне» инвалиды есть в каждом отряде, а вообще средний возраст осужденных — сужу только по своей колонии — где-то 32–36 лет. Но говорю,

конечно, «на глазок», социологические службы у нас по лагерям не работают. И вообще зэки мало кого интересуют. Сидит человек? Ну и хорошо, раз сидит — значит, виноват. Пусть сидит. Туда ему и дорога!

Состав осужденных, в общем, неоднороден: есть просто старцы глубокие, есть — и много! — молодежь 19–23 лет. Скажем, в нашем цехе работает парень Игорь Быков, ему — 19 лет. Сам из Нижнего Тагила, статья 117, часть третья: изнасилование. И ростом неказист, и сажени косой в плечах нет, а вот, поди ж ты, бес попутал, как говорится. Отца нет, водку начал пить с тринадцати, состоял на учете в детской комнате милиции. И вот — результат. К органам МВД он отношения не имеет, просто суд гуманно поступил с пареньком, не отправил его в «бытовую зону», посадили сюда, к «ментам», все-таки лучше, чем к уголовникам, может быть, хоть не испортится до конца.

Есть другой «малолетка», тоже у нас в цехе работает, собирает картофелеочистительные машины. Тот — разбойник. Сел за разбой. Смотришь на него и думаешь: господи, ну какой же он…преступник. Бандит, настоящий бандит, потому и фамилию не называю, может, одумается…

Если же говорить о бывших работниках МВД, то среди них все-таки преобладает «низовой» состав: сержанты, офицеры младших чинов. Много прапорщиков внутренних войск, сотрудников суда и прокуратуры. Все они ведут себя по-разному. Кто-то глубоко раскаивается в содеянном, кто-то наоборот, только здесь, в колонии, и показал всю свою подлую начинку. Бывшие офицеры милиции сидят в основном за взятки. Среди них очень мало людей, которые осуждены за нарушение социалистической законности, за превышение своих служебных полномочий. К сожалению, в «зоне» много убийц.

Не нужно, наверное, видеть во всех осужденных конченых людей. Но зэки есть зэки, хочешь — не хочешь, а отношения должны складываться; ведь ты живешь не один: вокруг — люди, и жить нам вместе еще почти десять лет.

Когда я только-только появился в «зоне», многие заключенные злорадствовали и не скрывали этого: «Генерал-полковник, зять Брежнева, а тоже здесь! Как хорошо! Раньше ты нас, теперь и тебя…» Не могу сказать, что они вели себя самым дружественным образом. У зэков своеобразная психология: хорошо тебе, другого зависть одолевает. Плохо тебе — он снова почему-то радуется, даже злорадствует, не скрывая этого. Сознание этих людей в большинстве своем извращено, конечно, что тут говорить. Но ведь многие сидят здесь годами, ничего не поделаешь; хотя многое — я согласен — понять и принять просто

нельзя. Ко мне они, в общем, «не лезли». Отдельные попытки были, но я их сразу пресекал. Потом отстали.

Только строить отношения и устанавливать их-это разные слова. Отношения, конечно, должны устанавливаться сами; а как-то искусственно строить их — это значит приспосабливаться, вот я — противник этого. В «зоне» есть такая тенденция: если между двумя осужденными вдруг пробежала кошка или эти люди друг другу просто не нравятся, они вообще не разговаривают между собой. Вот это меня страшно бесит. Живем вместе, в одном отряде. Видим только друг друга, да еще телевизор, который и есть для нас «окно в Европу», то есть на волю; ну, пойди ж ты и объяснись, прояви мужское самообладание, самолюбие, наконец, выясни, в чем дело! Видно же — человек обижен, надулся, спрашиваешь его: какая причина? Начинает врать, крутиться: да я, да мы… Это уже неискренний человек.

Все-таки сама наша административно-командная система накладывает на людей глубокий отпечаток. Очень много просто завистливых людей, они злословят по твоему адресу, «стучат» на тебя — видимо, в каждой «зоне» это развито очень широко. Не знаю, когда родилось на свет само слово — «стукач», — но оно очень точное, емкое. Правильное слово. Я понимаю: нет такого исправительно-трудового учреждения, которое могло бы существовать без «стукачей». Я читал «Историю царских тюрем» (солидный четырехтомник, по-моему, академическое издание — не могу вспомнить сейчас автора) — так вот, там тоже были «стукачи», это, если угодно, традиция. То есть правоохранительные органы, или органы охраны, или вообще органы, занимающиеся вопросами безопасности, без этого не могут, им, безусловно, нужна своя осведомительная сеть. Но ведь все это должно быть, конечно, в своих разумных пределах. Самое главное — стукачество не должно унижать человека, его достоинство. И никто не имеет право на это, никто! Так мне кажется.

А замыкаться здесь нельзя, это — моральная смерть. Если в «зоне» человек лишает себя общения с другими людьми, это полутруп; он или с ума сойдет, или совершит какие-то непредсказуемые поступки. Вот, скажем, тот же Усманходжаев, бывший Первый секретарь ЦК: узбеки, которые общались с ним и по долгу службы, и в силу личных контактов, говорят сейчас, что Усманходжаев здорово сдал. Насколько он сломался, сказать трудно, я просто передаю наблюдения людей, которые работали с ним в 70-80-е годы. С кем он общается? По-моему, кроме узбеков — ни с кем, но это, конечно, еще зависит и от склада характера самого человека.

Да и я сам не могу сказать, что дружески общаюсь с Норовым, Норбутаевым и другими бывшими генералами из МВД Узбекистана, которые проходили со мной по одному делу. Если встречаемся на производстве или после работы (в жилзоне или в клубе), то друг другу задаются одни и те же вопросы: что нового? Как дела? Как самочувствие? Что нового? — этот вопрос, пожалуй, превалирует. Кто-то говорит, что по его делу есть движение, второй делится новостями из письма, которое он получил. Сейчас, когда я пишу эти строки, зэков волнует проблема курева, здесь, я думаю, она дает о себе знать куда острее, чем в Москве или где-то еще на воле.

Вот такое общение.

Радуюсь за генерала Сатарова, бывшего начальника УВД Ташкента, который ушел недавно в «досрочное освобождение». Уехал домой. Наш Уголовный кодекс предусматривает и такой «вариант»: после отбытия двух третей срока наказания (Сатаров получил шесть лет), если осужденный за это время не нарушал дисциплину и добросовестно трудился, его освобождают.

А другие генералы все еще сидят… Не сомневаюсь, что и меня здесь будут держать «до последнего». А может, и еще что-нибудь придумают, пострашнее, кто знает…

* * *

Два раза в год в «зоне» предоставляют свидание с родственниками. Система такая: в колонии есть специальное помещение, его называют «комната свиданий», сюда может приехать жена осужденного, его брат или сестра, мать или отец. Там стоят две кровати, и есть место, где можно приготовить пищу. Продолжительность свиданий — трое суток. Если человек добросовестно трудится и не нарушает порядок, начальник колонии может прибавить на свидание с родными еще три дня — итого, их выходит уже шесть, почти неделя.

Так в каждой колонии, я опять это подчеркну. Наша, 13-я, ничем не лучше и не хуже; хотя мне, скажем, говорили, что у нас в «зоне» «комната свиданий» по сравнению с другими колониями находится не в очень хорошем состоянии. Тем более таких комнат у нас не хватает.

С письмами тоже не все так просто: при усиленном режиме осужденный имеет право отправить только три письма в месяц, зато получать — сколько угодно. После того, как мое интервью, данное журналу «Театральная жизнь», и тут же перепечатанное более чем в двадцати журналах и газетах (центральных,

республиканских и областных), дошло наконец до широкого читателя, на меня обрушился просто поток писем. Пишут разное. Но в основном — это письма хорошего содержания. Вот только некоторые из них.

Здравствуйте, уважаемый Юрий Михайлович!

Пишет Вам незнакомый Вам человек. Я занимаю скромное место, тихо тружусь. Я прочитал Ваше интервью в журнале «Театральная жизнь». Большое, умное, хорошее интервью. Вы — умница, хорошо, что Вы не падаете духом, хорошо, что Вы оптимист. Я согласен с Вами — действительно: хорошую память оставил о себе Леонид Ильич! Это я признаю как коммунист, честно, по-партийному. Я счастлив, что жил в одно время с Леонидом Ильичом.

Юрий Михайлович! Вы человек очень интересной судьбы. Вы знали и знаете и хорошие, и плохие дни. Пожалуйста, не унывайте! Даже если Вы и совершили что-то, то, я уверен, что Вы уже покаялись. Надейтесь на лучшее. У многих великих людей бывали темные дни. Галилео Галилей тоже сидел в тюрьме. Пушкина тоже преследовали. Смотрите на вещи так, как смотрел на них Пушкин. Вот что он писал Глинке в 1822 году.

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменила мне любовь,
В моем изгнанье позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны — если буду
Тобой оправдан, Аристид.

Юрий Михайлович, я хочу жениться на иностранке — англичанке, француженке, американке. Повидать свет, пожить, как человек. Это прекрасно. А то как-то скучно, Москва уже не та, что прежде.

Молюсь за вас.

Петр, г. Москва.

Вот другое письмо:

Здравствуйте, Юрий Михайлович! Пишет Вам тоже обиженная по поводу публикации в газете «Позиция» о Вас Ю. Феофановым; Ваша исповедь заставила меня прослезиться, ибо я неоднократно страдала от сфабрикованных чинами дел и знаю, как это пережить: напрасную клевету. Но бог меня миловал, до тюрьмы дело не доходило. Но от тюрьмы, как и от сумы не зарекайся — в нашем бесправном государстве, где все на одного! Я, лично, верю вашим словам. Все у нас в стране героев одного поля ягодки, пока как возможность — хапают, а одного к ответу призывают, как в данном случае, Вас. Не отчаивайтесь, молите Бога, чтобы он покарал обидчиков ваших, и терпите, Всевышний дает силы для терпения. Я в данное время, да и всю жизнь терплю несправедливости. Если ответите на письмо, то и подробности опишу все. Я рабкор, в трех газетах печатали мои заметки, но за правду и критику отлучили от газеты и преследовали… Не на ту напали!.. Отстали гонители, но после всего нелегко, и особо трогает статья про Вас и подобные. Вы читайте больше. Если не волнуют материалы современной тематики газет и журналов, то читайте книги. Это поможет вашему терпению. Мой бывший муж тоже был «зэк», и последние годы он — на поселении в Тюменской области. Если Вас не оправдают, а это похоже, по словам Феофанова, то наступит время и Вы в колонию вольного поселения попадете. Там и с женой можете жить, даже в своем доме, и работать. Мне понравилось ваше интервью и не понравилось Феофанова, он лебезит перед современной властью, я так поняла, как и все в нашем государстве, с рабской психологией!

А моего обидчика, парторга обувной фабрики, где я с 17-ти лет работала, убил бог, издох! Туда и дорога! Накажет и ваших! Главное, не падайте духом! Жизнь — это борьба и человек должен сохранять присутствие духа в любых обстоятельствах. Хорошо, что Вы пережили страшное, и хорошо, что понимают Вас Ваши современники. Я хочу Вас духовно поддержать, я пишу стихи, рассказы, но пробиться трудно у нас в люди простой рабочей. С сочувствием к Вам и состраданием большим. Спасет Вас Бог. Я редактор стенгазеты в цехе и Вы займитесь тем же.

С уважением, Антонина Щербановская,

г. Ишим, Тюменская обл.

А было и такое:

Здравствуйте, вернее — здравия желаю!

А знаете, кто Вам пишет? Тоже «зэк», конечно, в прошлом. Юрка, а ведь я не зять Генерального, обыкновенный мужик. Когда

читаю твою исповедь, мороз по шкурке. Ты генерал, а я был обыкновенный, — а за что? Мне даже в трудовую не запишут то, где и как я работал, — это считалось просто труд. Теперь я инвалид, дали вот группу на год, а потом мне куда? Думаешь, меня поймут? Дудки. А ведь меня не Гдляны ломали. Здоровья нет. Тех благ, что обещал твой тесть, тоже, хребет-то я сломал, а Сибирь нет. Вот и живу. Живи и ты.

С уважением, Рузанов Валерий Николаевич,

г. Чернигов, пр. Окт. Революции.

Письма простые, бесхитростные, но за ними — живые люди…

Из Тюмени пришло письмо от рабочего, из порта Ванино — от кладовщика; люди сочувствуют, просят держаться, не терять присутствия духа. Я их всех искренне благодарю. Несколько писем — злобных, или, скажу мягче, нехороших; их авторы, я думаю, в 70-80-е годы либо сами пострадали от органов внутренних дел, либо — их близкие родственники.

Когда в журнале «Родина» появился комментарий к моему интервью, написанный Ю. Феофановым, среди осужденных нашей колонии — прямо скажу — он встретил достаточно негативную оценку. Василий Вышку, бывший заместитель Председателя Совета Министров Молдавии, осужденный якобы за взятки, написал так:

Кого ждет раскаяние?

Поразительно все же, как живуч журналистский зуд в поиске врагов и слепого обвинительства. Нет-нет, да появляются в печати все новые попытки объявить все беды страны грехом одного-двух людей эшелона высшей власти или близких к ним лиц. И об этом говорит, в частности, публикация послесловия Ю. Феофанова к интервью Ю. Чурбанова в журнале «Родина» № 4 за 1990 г. Понятно, что заключенный в глазах народа — не самая популярная личность. А уж тем более Ю. Чурбанов в образе заключенного — вообще уникальный повод для злорадства и умопомрачительных оценок со стороны тех, кто привык видеть все беды в ракурсе виновности руководства.

Скажу с самого начала, что я не знал Чурбанова и не связан с ним никакими дружескими узами, а только лишь — фактом нахождения по воле судьбы в одной колонии усиленного режима. Но если говорить с позиции читателя, то его интервью произвело на меня достаточно хорошее впечатление, прежде всего своей умеренностью, сдержанностью, тактом по отношению к лицам, о которых ему пришлось говорить. Несмотря на тяжелое положение, в котором оказался Чурбанов, он не поддался соблазну обличения и разоблачения, которые обычно присущи множеству публикаций, особенно если авторами являются в чем-либо

ущемленные люди. Разумеется, о виновности или невиновности Чурбанова трудно судить после столь скрупулезного рассмотрения судебного дела, но все же подспудно осознание впечатления расправы с этим человеком остается — и думаю, не только в моей душе. Подлинное правосудие, как известно, должно отличаться корректностью и высокой нравственностью, помня о том, что законность не может быть безнравственна. Однако достаточно лишь одного эпизода, связанного с моментами ареста и первого допроса Чурбанова, чтобы усомниться в нравственности тех, кто его арестовывал и допрашивал.

Совершить акт ареста с применением унизительных и неправомерных процедур, забывая о человеческом достоинстве, это означает по существу, что совершен произвол, который перечеркивает любые праведные намерения. И весьма досадно, что этот произвол не замечает юрист Феофанов, недавно восторгавшийся на страницах «Известий» тем, что в Америке даже при задержании на месте преступления полицейский обязан объявить о его праве на помощь адвоката и о том, что любые его показания могут быть использованы судом против него. Но, вероятно, и здесь опытный журналист рассуждает: это — для них, но не для нас.

Не может не вызывать сомнений и существо обвинений в адрес Чурбанова. В интервью он описывает действительные события в Газли, которые до прочтения интервью мне были известны, слово в слово, от бывших генералов Норова и Норбутаева, находящихся в этой же колонии. Если принять во внимание те объективные обстоятельства, что во время встречи в Газли Чурбанов и Каримов даже не были знакомы, то явно, что версия о передаче взятки в сумме 10 тысяч рублей после посещения небольшого поселкового магазина выглядит просто смехотворной.

Несостоятельна и версия о передаче Чурбанову 50 тысяч рублей от Худайбердыева, который в тот момент находился в пенсионном возрасте и не мог рассчитывать на какие-то перспективы по службе; тем более, что Чурбанов реально своей властью не мог что-либо решить для Худайбердыева. Однако логика этих событий никого не интересовала. Не вызвал особого замешательства у суда и тот факт, что после суда уцелело лишь около 15 % от объема обвинения, выдвинутого Прокуратурой СССР; что весьма убедительно свидетельствует о низком качестве следствия, не говоря о старании любой ценой нагромождать обвинения.

Сама легкость возникновения и отмены обвинения во взятках на сотни тысяч рублей — это весьма показательный симптом серьезной болезни органов следствия. Даже не подвергая

подробному анализу эти важнейшие детали уголовного дела, объективный читатель останется в смятении в попытке определить, где истина. Но не опытный юрист — журналист Ю. Феофанов! Он не сомневается ни на минуту, что Чурбанов — преступник.

Аргументы у него не столь юридически, сколь эмоционально политизированы: мол, подвизался на комсомоле, женился по расчету, знал «грехи» ГУЛАГа, но молчал, поэтому — виновен. Виновен и баста! Меньше всего хотелось бы, чтобы читатель подумал, что я считаю Чурбанова безгрешным. Но уверен, что его грехи весьма незначительны по сравнению с теми, кто подарил стране Чернобыль или Карабахский узел, стоившие народу сотен тысяч семей беженцев и десятков тысяч погубленных жизней.

Разница в том, что Чурбанова взяли по команде, а виновников действительных трагедий до сих пор оберегают от гнева народа. Убежден, что достаточно обычного профессионального интереса Прокуратуры СССР к виновникам крупных трагедий последнего времени и миллиардных убытков в мелиорации, миллиардных потерь в сельском хозяйстве, и мы стали бы свидетелями невиданных уголовных процессов, в которых выявились бы подлинные преступные противоправства. Но это были бы уже процессы не над лицами, а над самой командно-административной системой, доведшей страну до кризиса.

С наивностью школьника Феофанов упрекает Чурбанова в том, что последний якобы не информировал Брежнева о катастрофическом состоянии мест заключения, о других бедах, имевших место в стране. Бедный гуманист Феофанов! Он до сих пор думает, что Брежнев или кто-либо мог что-либо изменить по личному усмотрению! Напрасная мечта! Любые усилия в любой области тонули в громадном омуте бюрократизма, где любой параграф инструкции ставился выше живой боли живого человека.

Эту ситуацию, какпоказало время, может изменить не один человек, а крупная ломка всей системы, в которой человеку была отведена роль послушного винтика. Это задача и решается сейчас с большим трудом.

Феофанов настойчиво призывает, точнее говоря, приказывает покаяться в грехах. Каяться и никаких гвоздей! Нечего сказать, покаяние — дело благородное. Но не может не знать Феофанов, что покаяние — это не приказное дело, а дело личной нравственной позиции человека. Возможно, Чурбанову есть в чем каяться, и он это сделал или сделает по-своему.

Но я более чем убежден, что в покаянии больше нуждаются те, кто привык с неизменной уверенностью в своей правоте давать окончательные и непререкаемые моральные оценки любому

человеку, особенно если этот человек оказался в центре общественного внимания. Они в таком случае черных красок не пожалеют, чтобы этот человек выглядел в глазах народа носителем всех возможных пороков.

Нет уж, извольте, уважаемый Ю. Феофанов, пора уж и вам осознать свои грехи и раскаяться перед народом. Кто, как не вы — журналист центральной печати, взахлеб раскрашивали невиданные горизонты общества развитого социализма, оказавшегося на поверку обществом застоя. Кто, как не вы, воспевали образы верных ленинцев от Хрущева до Брежнева и Черненко, любовно редактируя и цитируя их труды. Перечень ваших заслуг можно продолжать бесконечно. Вы и сегодня не можете оторваться от двухцветного стиля изображения событий, белого или черного, хотя известно, что мир многоцветен.

А на судьбе Юрия Чурбанова, думаю, еще рано ставить точку, особенно после второго суда, где у семьи Чурбановых не выявлено преступно нажитого богатства. Судьба Чурбанова — скорее всего, одна лишь капля в море кровоточащих ран произвола, содеянного группой Гдляна-Иванова в Узбекистане. Эта рана кровоточит еще и сегодня слезами тех людей и близких, кто был незаконно арестован и осужден в 1983–1986 годах. Виновника произвола еще ждет заслуженное возмездие.

И в завершение последняя новость из жизни колонии «для бывших»: по протесту заместителя Генерального Прокурора СССР Верховный Суд Узбекской ССР отменил приговор по делу В. Иззатова и освободил его из-под стражи. На днях В. Иззатов уехал домой после 7 лет (из 13 лет по приговору) отбытых неизвестно за что по прихоти Гдляна и Иванова. Короче, жизнь продолжается, а правда медленно, но побеждает.

В. Вышку, незаконно осужденный,
бывший заместитель
Председателя Совета Министров
Молдавской ССР
7 августа 1990 года.

Мне кажется, так думают многие.

* * *

Трудно в колонии, очень трудно. Уходят годы, кончается жизнь. Да и здоровье крепче не становится.

В этом году мне исполнилось 54 года. Еще вполне работоспособный возраст. Очень хочется вернуться к конкретному делу — с новой оценкой, с новыми мерками и подходами, с

новыми людьми. То окружение, которое у меня было раньше, я бы, конечно, в свою команду уже не взял. Не все показали себя настоящими людьми.

«Зэки» стараются не нарушать порядок и уважать администрацию. Но есть и многие другие проблемы. Среди офицеров колонии встречаются разные люди: умные и не очень умные, скромные и чванливые — эту чванливость я сполна на себе испытал. Что там греха таить, многим прапорщикам, лейтенантам (да и людям из младшего офицерского состава) приятно кольнуть бывшего генерал-полковника и первого заместителя министра внутренних дел страны. Но таких все-таки мало.

Нельзя унижать человеческое достоинство. Независимо от того, в какой ситуации оказался бывший ответственный работник, стриженный он или нет, каким бы подонком он ни был, с каким бы ни пришел сюда, в колонию, составом преступления. Он временно изолирован от общества, отсидит свое и вернется. Но в то же время и общество по целому ряду позиций гарантирует ему неприкосновенность. А «зэки» тоже хотят участвовать в жизни страны, чувствуют себя ее гражданами. Когда осужденные смотрят программу «Время», в комнате собирается довольно много людей. Ситуация в стране всех живо интересует. И люди, которые сидят здесь, — понять бы это тем, кто не понимает! — еще остались людьми.

Каждую неделю, в субботу и в воскресенье, в зависимости от рабочей смены, можно сходить в кино. Фильм крутят один и тот же, только сеансы разные.

Бывает, смотришь фильм, он, что называется, тебя захватывает, ты полностью погружаешься в него, сопереживаешь героям, сливаешься с их жизнью; а потом оглядываешься — фильм закончился, в зале задвигались люди и все то же самое, до боли знакомое, одна и та же обстановка — то есть на эти полтора часа ты куда-то уехал, окунулся в какой-то совсем иной мир, а теперь изволь вернуться обратно, в тюремную жизнь. Становится не по себе.

Поэтому я стараюсь в кино ходить редко. Да и на работе все-таки очень устаешь.

* * *

Первое письмо от жены я получил не сразу. Сначала сам написал. Дал адрес. Рассказал, как доехал в «Столыпине». О подозрении на туберкулез, с которым я тут же угодил в санчасть,

не писал. И правильно, по-моему, сделал, туберкулез, слава богу, не подтвердился.

А потом Галина Леонидовна ответила. Началась переписка. Не могу сказать, что жена пишет письма каждую неделю, она из той категории людей, которые не любят писать. А вот пространные телеграммы, которые стоят значительно дороже, чем письмо за 5 копеек, она присылает регулярно.

Совсем недавно я узнал, что Галина Леонидовна выиграла суд. Это был суд Краснопресненского района, который, заслушав дело, вынес решение вернуть жене принадлежащее ей имущество. Потом, уже из прессы, я узнал, что Мосгорсуд внес протест, считая решение районного суда незаконным. Чем все это кончится — сказать трудно.

И все-таки — жаль годы, которые идут так быстро, очень жаль. Из-за колючей проволоки не очень-то разглядишь, что происходит в стране. В сложное время мы живем. Началась перестройка. Что-то новое было очень нужно, конечно: государственный механизм нуждался в оживлении, но как все это называть — вопрос. Ведь само слово «перестройка» имеет очень много значений. Я, кстати, впервые встретил его в интересном историческом романе «Корсары Ивана Грозного». Фабула этого романа — борьба России за выход на Балтику. Вот там все это тоже называлось «перестройкой».

То, что капитализм нам не нужен, это, по-моему, однозначно. Может ли у нас быть капитализм? Лучше не надо.

Сейчас много статей о том, что взамен «застойного» времени должно наступить какое-то новое. По-моему, авторы «нового времени» сами недостаточно четко представляют себе, что же это такое на самом деле. Зэки — очень терпеливая публика. Но им тоже не все ясно. Шестой год идет в поисках «нового времени». А вот стал ли народ жить лучше — это вопрос.

Или, может быть, отношения между людьми сейчас изменились в лучшую сторону? Тут уж не один — я ставлю два вопроса. Что, на наших улицах стало больше порядка, и мы увереннее чувствуем себя в вечернее время, когда возвращаемся из театра или просто от друзей и знакомых? Тут три вопроса. Одним словом, последняя пятилетка породила множество проблем. Их так много, что я думаю: сколько же останется народу времени, чтобы ответить на них?

Зэки, пожалуй, единодушны в своем отношении к нынешнему времени. Вот тут они все солидарны. Ждут они, бедные, амнистии, ждут каждые полгода, и тут я их — и себя — хорошо понимаю. С высокой государственной трибуны было заявлено об изменении уголовного законодательства. Где же оно? Один съезд

прошел, второй, третий, сессии Верховного совета сменяют друг друга с такой быстротой, что не успеваешь следить, а нового уголовного законодательства как не было, так и нет. Только опять с трибун идут заверения, что все уже готово, что вот-вот… Пока это только слова. А взамен предлагается парламентское мелкотемье, внезапно рождающиеся и также внезапно умирающие повестки дня. Разве это серьезно?

В свое время и я был депутатом Верховного Совета РСФСР. Мне очень нравилась продуктивность, с которой мы тогда работали. Пусть по ряду позиций она была где-то «запрограммирована», но эта продуктивность носила конструктивный характер. Каждая сессия кончалась конструктивным решением, каждая. И местным советам депутатов трудящихся оставалось только одно — выполнять и докладывать о выполнении. По-моему, реальный вклад союзной и российской сессий Верховного совета тогда был гораздо более значительным, чем теперь.

Пусть моя точка зрения кому-то покажется бредовой, но я бы внес в повестку дня предложение всем депутатам принять самое активное участие в спасении и уборке урожая. Невиданного урожая! Пусть бы наши парламентарии разъехались по разным районам. Урожай не ждет. Сначала, мне кажется, нужно внести свою лепту в общесоюзный «котел», а потом можно было бы заняться и другими вопросами.

Если уж и призывать людей к мобилизации, труду и дисциплине, то начинать, наверное, надо с себя. Вот тогда бы весь народ поверил, что его избранники, его слуги действительно служат народу. И что плохого, если бы они временно отказались от своих квартир, от всех льгот, неожиданно на них свалившихся, и поехали бы поработать вместе с крестьянством, с рабочими, с интеллигенцией и студенчеством на полях. Но это — чисто мои рассуждения.

Отмена шестой статьи о «руководящей и направляющей роли КПСС» привела, прежде всего, к выходу из рядов самой КПСС. Но ведь если какая-то часть людей бежит из партии, это еще не говорит о слабости самой партии. Отмена шестой статьи помогла очиститься КПСС от того балласта, который был в ее рядах. Я думаю, что партия от этого станет еще крепче. Наша партия не сдаст своих позиций. Но она сейчас серьезно больна. И ей помогают болеть. Я уверен, что это время пройдет и все встанет на свои места.

Не менее сложные процессы идут, на мой взгляд, и в странах Восточной Европы. Еще два года назад они назывались «революционными», теперь, наверное, все эти процессы

приобретают другую окраску.

Какая же это революция, если уничтожают памятники Ленину, если взрывают монументы, воздвигнутые в честь советских воинов, освободивших Европу от фашизма? И все-таки я не верю, что у наших братьев — поляков, чехов, болгар — не осталось по отношению к Советскому Союзу никаких симпатий. Памятники Ленину разрезаются на куски и продаются для пополнения сомнительных частных коллекций. Разве это не кощунственно? Ну, хорошо, а Ленин-то чем виноват? Давайте спросим себя: как бы Ленин оценил те процессы, которые сейчас происходят?

Трудно сказать. Очень трудно.

* * *

Меня не выгоняли из партии, а лишь механически исключили из нее — в связи с арестом. Всех, кто находится под следствием, у нас заочно исключают из партии, а потом, случается, и восстанавливают. Ни встречи, ни беседы, ни моего личного присутствия на заседании бюро райкома партии — ничего не было. Если ты «прокаженный», то зачем же с тобой встречаться? Причем меня исключили из партии, не дожидаясь приговора суда. А ведь только суд решает, виновен человек или не виновен. Кто-то из функционеров просто перестраховался или опять же откуда-то пришло «указание». Только так это и можно объяснить.

Не надо все грехи валить на партию. Она этого не заслужила.

* * *

Зато нет отбоя от журналистов. Ведь вот какое дело: если бы все эти бесчисленные статьи о Чурбанове носили хоть какой-то исследовательский или просто житейский характер, если бы все журналисты не были загодя «науськаны» на «тему», то им, этим статьям, была бы другая цена. Но если бы журналисты всерьез занимались анализом тех процессов, которые предшествовали появлению «кремлевско-узбекского» дела, тогда их материалы интересно было бы читать. А так у людей, которые хоть чуть-чуть знакомы с истинным положением дел, все эти статьи ничего, кроме усмешки, не вызывают.

Здесь, в колонии, бывало уже большое количество журналистов. На мое несчастье, они приезжают, прежде всего, ко мне. Началось с того, что в 1988 году на меня неожиданно

свалился некий Аджаров из «Известий». Не знаю, какой он журналист, я сроду не читал его публикаций, но у всех осужденных остался неприятный осадок от общения с ним. Конечно, он хотел на зэках просто заработать. А не вышло.

Ну, зачем, спрашивается, Аджарову надо было заходить ко мне в санчасть, где я лежал с подозрением на туберкулез, предлагать мне сигареты, которые он готов купить для меня в Нижнем Тагиле, — ну кому нужна, спрашивается, эта дешевка? А тем временем, пока я слушаю, как он меня «покупает», доставать из заднего кармана брюк маленький портативный диктофон и тайком пристраивать его на тумбочке возле кровати? И опять все доверительно, шепотом, пока не было рядом представителей администрации, будто они мешали ему работать! В общем, уехал он ни с чем, а потом снова явились «известинцы».

Я ушел от встречи с ними, но, скажем, тому же Бровину, о котором я уже рассказывал, они пообещали переслать его фотографию в арестантской робе к нему домой — так сказать, на память. Не знаю, переслали они его фотографию или нет, но то, что она появилась на Пушкинской площади в «Окнах ТАСС» — это факт. Стоит там Бровин, бывший секретарь Брежнева, с суповым бачком. Все это Бровин узнал уже потом, из письма дочери — не знаю, как он сам пережил это все, думаю — непросто; зэки веселились над ним от души…

Большой интерес проявляло ко мне и французское телевидение. Я не пошел ни на какие контакты с ними, и администрация колонии в этом плане мне очень помогла.

Потом в «зоне» появилась Центральная студия документальных фильмов. Я тоже отказался встречаться, но они — не знаю уж зачем — все равно снимали мое пустое рабочее место, мои инструменты, мой станок. Потом они пришли в отряд и снимали мою пустую кровать. А я в это время находился в другом месте. Пережидал, так сказать. Вот эта назойливость, беспардонность — как это все может сочетаться с журналистской этикой?

Потом в «зоне» наступило некоторое затишье, зэки жили спокойно, как вновь свалился «десант» в лице журналистов Додолева, Авербуха и еще кого-то. Они шокировали здесь всех — и осужденных, и администрацию. Крепко погуляли эти ребята по «зоне»! Они фотографировали всех и вся, но охотились, конечно, прежде всего за «бывшей номенклатурой».

Боже мой, как же эта «бывшая номенклатура» бегала от них! Представить трудно! Авербух с помощью администрации, прапорщиков перекрывал им все «каналы»: зэков отлавливали в полном смысле этого слова. Когда Авербух с фотоаппаратом

пришел в отряд, где находился Вышку, то бывшему заместителю Председателя Совмина Молдавии, было сказано буквально так: «Если ты не будешь позировать и не покажешь свою «козью морду», получишь наказание». Было и так! Но Вышку все равно пытался загородиться и натянул на голову спортивную куртку. Получилась такая поза: вытянуты руки, одевается костюм, в этот момент его снимает Авербух «крупным планом», и впечатление, что сидит на кровати или полуидиот, или просто сумасшедший. Авербух хохочет, уходит довольный, а Вышку становится плохо, и он лежит с сердечным приступом. Что же это за фокусы, граждане журналисты?

А потом искали меня. Благо цех у нас большой, сборочный тесно соприкасается с механическим, так что найти меня оказалось нелегко. Но нашли. Наступила пересменка, Додолев с Авербухом пробежали литейный цех, я вижу из окна, что они ушли, быстро иду в другую сторону — и тут вдруг появляется войсковой наряд. Мне приказывают: надо идти. Я сопротивляюсь, говорю, что все это нарушение закона, что никто не может навязывать свою волю человеку, даже если этот человек осужден и т. д. Мне еще раз говорят, мол, нужно идти, а то — могут наказать. Зашли за угол, а тут Авербух с другом-аппаратом и всей этой «шайкой», я их иначе не назову.

Вот так в сборнике «Совершенно секретно» появилась фотография Чурбанова в робе, только сборник этот не «совершенно секретный», а «совершенно трепливый». И подпись сделали: у Чурбанова, мол, такая голова, что арестантская кепка идет ему так же хорошо, как и генеральская фуражка.

От этого больно. Посмотрим, что у них будет… со временем, конечно.

Если журналисты все еще хотят приезжать сюда, в «зону», пожалуйста, приезжайте, но только с чистыми руками, без конъюнктурных соображений. Не стригите купоны, это несолидно.

Вот и кончается моя исповедь. Не знаю, будет ли у этой книги продолжение и нужно ли оно.

Кажется, я все сказал.

Если я выйду на свободу, то есть, если я останусь жив, мне будет 62 года. Не такой уж большой возраст, но все-таки…

Впереди еще 8 лет и их надо как-то прожить. Как-то прожить и обязательно бороться.

Чего бы это ни стоило.

Январь, 1991 год,
Нижний Тагил

notes

Примечания

1

Автор неточен, в доме № 2 26 по Кутузовскому проспекту больше 20 подъездов. *(Здесь и далее — примечания издателей.)*

2

На IV Съезде народных депутатов СССР Г.И. Янаев стал вице-президентом СССР.

3

Дочь и зять Г.Л. Брежневой.

4

По решению Комиссии по привилегиям Верховного Совета СССР бывшие члены Политбюро и члены их семей с мая 1990 г. лишены госдач.

5

Речь идет о женщине из бывшей обслуги Л.И. Брежнева

Имеется в виду иск Г.Л. Брежневой, опротестовавшей конфискацию имущества ее семьи.

7

Ю.М. Чурбанов находился в Ташкенте, где выступал свидетелем в судебном процессе.